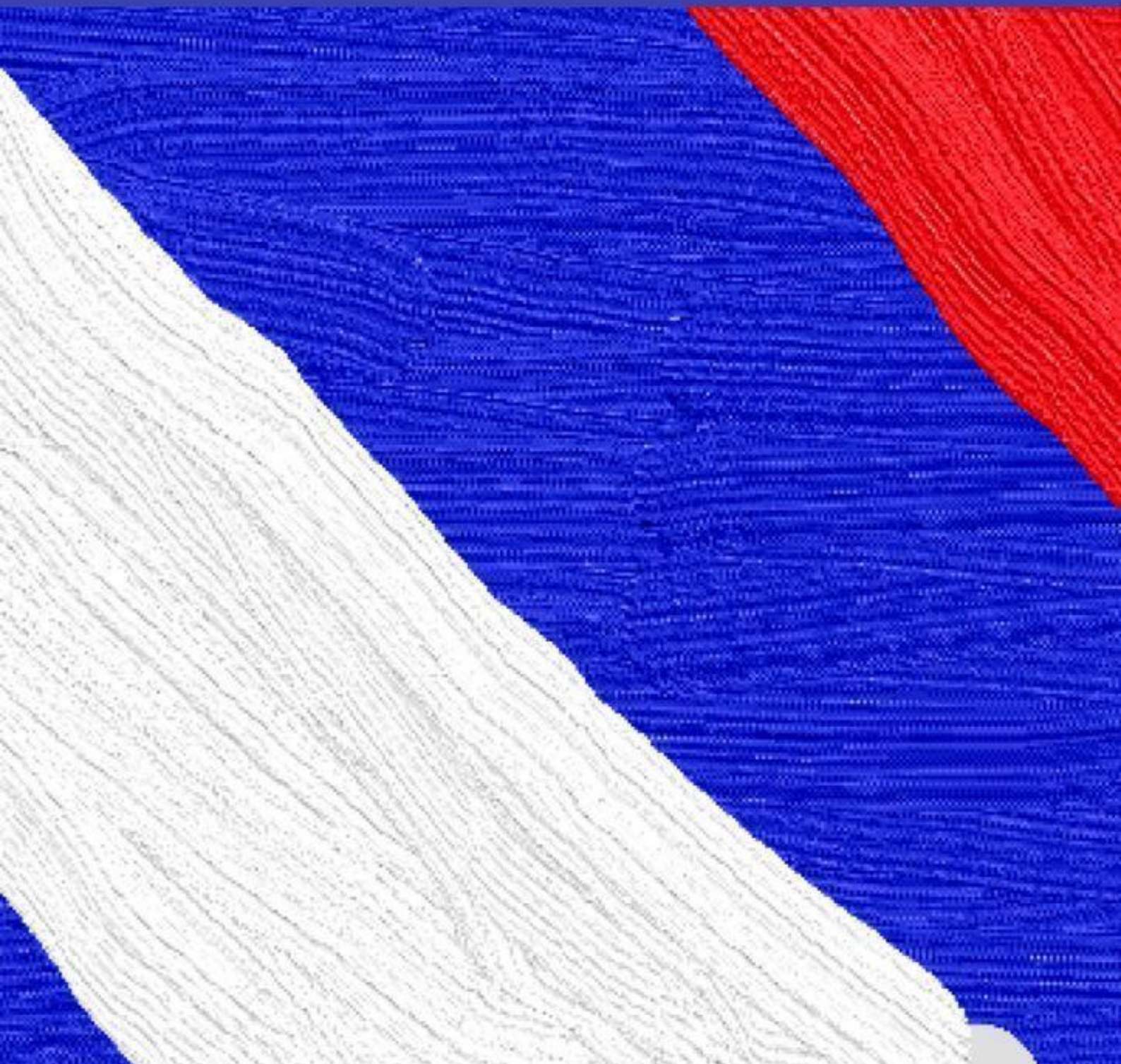
18+

Ги де Мопассан

Дорогой друг

Перевод Елены Айзенштейн



Ги де Мопассан

Дорогой друг. Перевод Елены Айзенштейн

«Издательские решения»

Мопассан Г.

Дорогой друг. Перевод Елены Айзенштейн / Г. Мопассан — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-598832-4

Без романа Мопассана невозможно представить себе классический французский роман второй половины 19 века. Роман «Дорогой друг» многократно переводился на русский язык под названием «Милый друг». Переводчику данной версии романа показалось более уместным новое название. А почему, можно понять, прочитав этот гениальный роман. В центре романа находится личность, которая проходит сложный путь от служащего, мечтающего о луидоре, до миллионера. Каким был путь к успеху, рассказывает роман Мопассана.

ISBN 978-5-00-598832-4

© Мопассан Г.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая 6
Глава 1 6
Глава 2 15
Глава 3 23
Глава 4 34
Глава 5 43
Конец ознакомительного фрагмента. 50

Дорогой друг
Перевод Елены Айзенштейн

Ги де Мопассан

Переводчик Елена Оскаровна Айзенштейн
Примечания Елена Оскаровна Айзенштейн

© Ги де Мопассан, 2026
© Елена Оскаровна Айзенштейн, перевод, 2026

ISBN 978-5-0059-8832-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая

Глава 1

Кассирша дала ему сдачу со ста су, и Жорж Дюруа вышел из ресторана.

По своей природе и благодаря выправке унтер-офицера, он держался хорошо, выгибался в талии, завернув свои усы привычным военным жестом и бросив на запоздалый ужин быстрый круговой взгляд, один из взглядов молодого человека, простирающийся, словно бросок ястреба. Женщины, три маленькие работницы посмотрели на него: одна, учительница музыки среднего возраста, плохо причесанная, украшенная всегда пыльной шляпой, одетая в неизменно плохое платье, и две буржуазные дамы с мужьями, завсегдатаи этой закусочной по умеренной цене.

Когда он оказался на тротуаре, на какое-то время он остановился, спрашивая себя, что он должен делать. Было 28 июня, и до конца месяца у него в кармане оставалась три франка сорок. Это были два обеда без завтраков, или два завтрака без обедов, на выбор. Он подумал, что утренняя еда может обойтись в двадцать два су вместо тридцати, что стоили вчера вечером и у него останется еще на две закуски (хлеб с колбасой) и еще на два пива на бульваре. Это были его большие траты и его большое ночное удовольствие, и он спустился на улицу Нотр-Дам-де-Лоретт. Он шел так же, как во времена, когда он носил гусарскую униформу, с выпяченной грудью, немного кривыми ногами, как будто только что спешился с лошади; он грубо продвигался по улице, полной народу, задевая плечом, толкая людей, находя для себя дорогу. Он слегка надвинул на ухо свою достаточно несвежую шляпу и стучал каблуками по мостовой. У него был такой вид, как будто он бросает кому-то вызов: прохожим, домам, целому городу, он шел с шиком красивого солдата, попавшего к гражданским.

Хотя он был одет на шестьдесят франков, он держался с несколько крикливой элегантностью, немного общей, но настоящей. Высокий, хорошо сложенный, светлый, светлый шатен со слегка выжженными волосами, с загнутыми усами, которые, казалось, пенились над губами, с голубыми ясными глазами с отверстиями совсем маленьких зрачков, с кудрявыми от природы волосами, разделенными пробором посредине черепа, он очень напоминал плохие страницы популярного романа.

Это был один из тех вечеров, когда в Париже отсутствовал воздух. Город, жаркий, как парильня, казался вспотевшим в удушающей ночи. Из гранитных ртов водостоков веяло чумным дыханием; подземные кухни из низких окон выбрасывали на улицу свои запахи кастрюльных помоев и старых соусов.

Консьержи, в рубашках с рукавами, оседлав соломенные стулья, курили трубки у дверей; прохожие удрученно шли с непокрытыми головами, держа шапки в руке.

Когда Жорж Дюруа пересек бульвар, в нерешительности он остановился. У него было теперь желание отправиться на Елисейские поля или в Булонский лес, чтобы найти немного свежего воздуха под деревьями; но в нем работало еще одно желание: он желал любовной встречи.

Как он представится ей? Он ничего не знал, но в течение трех месяцев он ждал все дни и все ночи. Однако несколько раз, благодаря выражению лица и галантности манер, ему удалось там-сям украсть немного любви, но он все время надеялся на большее и лучшее.

С пустым карманом и кипящей в жилах кровью он зажигался связями с бродяжками, которые бормотали на углу улиц: «Пойдете ко мне, красавчик?» — но он не осмеливался последовать за ними, не мог им заплатить; и он ждал другой встречи, других поцелуев, менее вульгарных.

Особенно любил он места, где роились публичные женщины, их вечеринки, их кафе, их улицы; он любил взять их под локоть, говорить с ними, знакомиться с ними, вдыхать их неистовые запахи, чувствовать себя рядом с ними. Это были, наконец, женщины, женщины любви. Он не презирал их, с точки зрения естественного семейного человека.

Он повернул к церкви Мадлен и последовал за потоком толпы, спасавшейся от удручавшей ее жары. Большие кафе, полные народу, выливались на тротуар, выставляя пьющую публику на яркий свет и наводняя ею освещенные витрины. Стаканы перед ними на маленьких квадратных или круглых столах содержали красную, желтую, зеленую, коричневую жидкость всех оттенков; и внутри графинов было видно, как сияли грубые прозрачные кусочки льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил свое движение и пожелал выпить: у него пересохло в горле.

Его охватила горячая жажда, жажда летнего вечера, и он почувствовал наслаждение от холодного напитка, текущего в рот. Но он выпил всего два кружки за вечер, распрощавшись с пивом до завтрашнего худого ужина; он слишком хорошо знал голодные часы конца месяца.

Он сказал себе: «Нужно дождаться десяти часов, чтобы взять моего американского пива. Черт! Я так хочу выпить!» И он окинул взглядом всех этих сидящих и пьющих людей, всех этих людей, которые могли утолить жажду, как им понравится. И он с лихим и бравым видом пошел мимо кафе, краем глаза следя за выражениями их лиц и одеждой, с чувством, что каждый потребитель должен носить при себе деньги. Гнев охватил его при взгляде на этих спокойно сидевших людей. Он мысленно рылся в их карманах и находил золото, серебро и мелкую медную монету. В среднем у каждого должно было быть по два луидора; в кафе их была сотня; сто раз по два луидора: четыре тысячи франков! Он пробормотал: «Свиньи!» — с изяществом покачивая фигурой. Если бы он мог постоять в уголке улицы, в самом затемненном ее углу, он свернул бы им шею, без угрызений совести, как во время больших маневров он делал с домашней птицей.

Он напомнил себе два года в Африке, то, как он выкупал арабов в маленьких местечках Юга. Веселая и жестокая улыбка прошла по его губам при воспоминании об эскападе, которая стоила жизни трем людям из племени Улед Алан, которых три товарища и он оценили в двадцать кур, двух баранов и золото (было над чем посмеяться в течение шести месяцев).

Так никогда и не нашли виновных, едва ли их искали в других местах: арабов считали естественной добычей солдата.

В Париже другое дело. Нельзя мародерствовать с саблей на боку и с револьвером в кулаке вдали от гражданского правосудия. Он почувствовал в своем сердце все инстинкты трусливого унтер-офицера в завоеванной стране. Конечно, он сочувствовал им в эти два года пустыни. Какая жалость, что он не остался там! Вернувшись, он надеялся на лучшее. А теперь!.. Ах, да, действительно!..

Он повел языком во рту с маленьким хлюпаньем, чтобы проверить сухость нёба.

Толпа скользила вокруг него, измученная и медлительная, и он по-прежнему подумал: «Скопище негодяев! Все эти дураки с деньгами в жилетном кармане!» Радостно посвистывая, он толкал людей плечами. Мосье натыкались на него и, рыча, поворачивались, женщины говорили: «Вот животное!»

Он прошел перед Водевилем и остановился перед Американским кафе, спросив себя, не мог бы он взять здесь себе пива, так мучила его жажда. Перед тем как решиться, посреди тротуара он посмотрел на освещенные часы. Было пятнадцать минут десятого. Он признался себе: если бы перед ним оказался стакан, полный пива, он бы проглотил его. Что еще делать до двенадцати часов?

«Я дойду до церкви Мадлен, а потом очень медленно вернусь», — сказал он себе.

И, поскольку он пришел на угол улицы Площадь Оперы, он встретил крупного молодого человека, чья голова ему показалась немного знакомой. Он порылся в своих воспоминаниях, а потом повторил вполголоса: «Какого дьявола, я знаю этого человека?»

Он порылся в мыслях, но не мог вспомнить; потом вдруг — единственное явление в памяти, это был человек, которого он видел не таким полным и более молодым, одетым в гусарскую униформу. Он громко воскликнул: «Ну, Форестье!» — и, замедлив шаг, ударил по плечу идущего. Тот обернулся, посмотрел, потом сказал:

— Что вы хотите от меня, мосье?

Дюруа принялся смеяться:

— Ты меня не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа. Шестой гусарский.

Форестье протянул обе руки.

— О, старик, как ты поживаешь?

— Очень хорошо, а ты?

— О, я, не слишком. Представь, у меня грудь из папье-маше, кашляю шесть месяцев из двенадцати, сразу после бронхита, подхваченного в Буживале, в год моего возвращения в Париж, вот уже четыре года прошло.

— Однако ты выглядишь твердым.

И Форестье, взяв за руку старого товарища, стал говорить о болезни, рассказал о консультациях, мнениях и советах медиков, о трудностях следования их рекомендациям в его положении. Ему советовали провести зиму на юге; но мог ли он? Он был женат, работал журналистом, на хорошем счету.

— Я занимаюсь политикой во «Французской жизни». Я делаю колонку Сената в «Приветствии» и время от времени — литературную хронику для «Планеты». Вот такой я проделал путь.

Удивленный Дюруа посмотрел на него. Тот очень изменился, хорошо дозрел. Форестье имел теперь походку, внешний вид и костюм человека с положением, уверенного в себе, живот человека, хорошо ужинавшего. Раньше он был худ, тонок, мягок, задорен: вертопрах, скандалист, дебошир. За три года Парижа он сделался каким-то совсем другим, большим и серьезным, с несколько поседевшими от времени висками, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

Форестье спросил:

— Куда ты идешь?

Дюруа ответил:

— Никуда. Я гуляю, перед тем как пойти домой.

— А не хочешь ли ты отправиться со мной во «Французскую жизнь»? Мне нужно держать корректуру. А потом пойдем и вместе выпьем пива.

— Я с тобой.

И они отправились в обнимку, с той простотой, какая существует между школьными или полковыми товарищами.

— Что ты делаешь в Париже? — спросил его Форестье.

Дюруа пожал плечами.

— Умираю от голода, все просто. Раз мое время закончилось, я хотел приехать сюда, чтобы… чтобы сделать состояние или просто чтобы жить в Париже; и вот уже шесть месяцев, как я служу в Северной железнодорожной конторе за полторы тысячи франков в год, и больше ничего.

Форестье пробормотал:

— Черт, это немного.

— Согласен. Но как мне подняться? Я один, никого не знаю, я не могу никому рекомендоваться. Это не по доброй воле происходит, а из-за средств.

Товарищ оглядел его с головы до ног взглядом практичного человека и знатока, а потом произнес убежденно:

— Видишь, малыш, здесь все зависит от апломба. Человек, хоть немного хитрый, легче сделается министром, чем шеф канцелярии. Нужно поставить себя, а не спрашивать разрешения. Но какого дьявола ты не нашел лучшего места, чем в Северной?

Дюруа сказал:

— Я искал всюду и ничего не нашел. Но в данный момент кое-что есть, мне предлагают стать наездником в школе верховой езды Пеллерен. Там я буду иметь, как минимум, три тысячи франков.

Форестье остановился:

— Не делай этого, это глупо, когда ты можешь зарабатывать десять тысяч франков. Не заслоняйся вдруг от будущего. В твоем офисе, по крайней мере, ты спрятан, никто о тебе не знает; ты можешь уйти, если ты силен, и сделать карьеру. Но наездник — это конец. Это как если бы ты был метрдотелем в доме, где обедает весь Париж. Когда ты будешь давать уроки верховой езды людям света или их дочерям, они не смогут привыкнуть и считать тебя равным.

Он помолчал, размышляя несколько секунд, а потом спросил:

— Ты бакалавр?

— Нет, два раза я потерпел неудачу.

— Это ничего, если ты довел до конца свои занятия. Когда говорят о Цицероне или Тиберии, ты немного знаешь, кто это?

— Да. Приблизительно.

— Прекрасно, никто не знает, кроме двадцатилетних дураков, которые не перестали об этом думать. Нетрудно сойти за сильного, все дело в том, чтобы не попасться в своем невежестве. Мы маневрируем, уворачиваемся от трудностей, совершаем ошибки, приклеиваем другим средства из собственного словаря. Все люди так глупы, как гуси, и невежественны, как карпы.

Он говорил со спокойной молодцеватостью, как знающий жизнь, и улыбался, провожая взглядом шедшую толпу. Но вдруг закашлялся и остановился, чтобы допить глоток, потом добавил удрученно:

— Невыносимо не иметь возможности избавиться от этого бронхита. А ведь середина лета! О! этой зимой я поеду лечиться в Ментон. Так ужасно, по-моему, но здоровье прежде всего. Они пришли на Рыбный бульвар к большой стеклянной двери, на которую с двух сторон была наклеена газета. Три человека, остановившись, читали ее.

Над дверью, как зов, размещались буквы, освещенные газовыми фонарями: «Французская жизнь». И прогуливавшиеся внезапно проходили к свету, который бросали эти блестящие слова, показавшиеся вдруг в полном свете, видные, ясные и чистые, как посреди бела дня, а потом сразу ушли в тень. Форестье толкнул дверь: «Входи!» — сказал он. Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, так что вся улица видела, и зашел в приемную, в которой два гарсона конторы приветствовали своего товарища; потом остановился в своего рода гостиной для ожидания, пыльной и истасканной, которая была обтянута поддельным зеленым бархатом, изрешеченным пятнами и местами изглоданным, словно мышами

— Садись, — сказал Форестье, — я вернусь через пять минут.

И он исчез в одном из трех проходов, которые вели из комнаты.

Странный, непередаваемый, особенный запах редакции плыл по этому месту. Дюруа оставался неподвижен, немного робок и несколько удивлен. Время от времени перед ним проходили люди, входили в дверь и уходили в другую, до того, как Жорж имел время их рассмотреть.

Это были иногда молодые люди, очень юные, делового вида, державшие в руках листы бумаги, трепетавшие на ветру при движении; иногда — рабочие-наборщики, чьи блузы в чернильных пятнах позволяли видеть воротник белой рубашки и драповые брюки, как у светских молодых людей. Они с осторожностью несли полосы отпечатанной бумаги, свежеотпечатанные и еще влажные корректуры. Несколько раз входил маленький мосье, одетый с подчеркнутой элегантностью, в зауженном на талии плаще, его ступни были сжаты остроконечными башмаками. Какой-то светский репортер нес вечерние «отголоски». Приходили другие, серьезные, важные, с высокими шляпами с плоскими краями, как если бы форма шляпы отличала их от остальных людей.

Форестье вернулся, держа за руку большого худого парня лет тридцати-сорока, одетого в черное и с белым галстуком жгучего брюнета, с закрученными кончиками острых усов, имевшего нахальный и довольный вид.

Форестье сказал ему:

— Прощайте, милый мэтр.

Тот пожал ему руку.

— До свидания, мой милый.

И спустился по лестнице, насвистывая, с тростью в руке.

Дюруа спросил:

— Кто это?

— Это Жак Риваль, знаешь, известный газетчик, дуэлист. Он принес корректуру. Гара, Монтель и он — три первых корреспондента, умных и злободневных, которые есть в Париже. Они зарабатывают тридцать тысяч франков за две статьи в неделю.

И пока они с Форестье шли, они встретили маленького человека с длинными волосами, толстого, неухоженного, который пыхтя поднимался по лестнице.

Форестье очень тихо приветствовал его.

— Робер де Варан, поэт, автор «Солнца смерти», еще один человек, который дорого стоит. Каждая новелла, которую он создает, стоит три сотни франков, а по длине не больше двух сотен строк. Но пойдем в Неаполитанский ресторан, я начинаю страдать от жажды.

И, когда они заняли места за столиком в кафе, Форестье крикнул: «Два пива!» И проглотил напиток одним махом, тогда как Дюруа пил медленными глотками, смакуя и вкушая, как редкую и ценную вещь.

Его товарищ ушел в себя и. казалось, задумался, а потом вдруг сказал:

— Почему бы тебе не попробовать себя в журналистике?

Тот удивленно посмотрел на товарища, потом ответил:

— Но… я же никогда ничего не писал.

— Ба! Все пытаются и все начинают. Я, например, могу нанять тебя, чтобы ты поискал для меня информацию, куда-то пошел, кого-то посетил. Вначале ты будешь иметь двести пятьдесят франков плюс извозчика. Хочешь ли ты, чтобы я поговорил с директором?

— Ну, конечно, очень хочу.

— Ну, тогда сделай одну вещь: завтра приходи со мной обедать, будут пять или шесть человек, мой патрон, мосье Вальтер и его жена, Жак Риваль и Норбер де Варан, которого ты уже видел, а еще одна подруга мадам Форестье. Слышишь?

Дюруа смутился, покраснел, озадаченный. Наконец, пробормотал:

— Дело в том, что у меня нет подходящей одежды.

Форестье поразился:

— Ты не одет? Черт! Вот совершенно необходимая вещь. В Париже, видишь ли, лучше не иметь постели, но не одежды.

Потом вдруг, порывшись в кармане своего жилета, он достал золотые два луидора, и положил перед старым товарищем, сердечным и родственным тоном добавив:

— Ты мне вернешь, когда сможешь. Возьми в аренду или купи одежду, внеси залог, одежда — вот, что тебе нужно, приведи себя в порядок, наконец, но приходи обедать завтра в половине восьмого, на Фонтэнь 17.

Дюруа, смущенный, забрал деньги, бормоча:

— Ты слишком добр, я очень благодарен тебе; будь уверен, что я не забуду…

Тот прервал его:

— Пойдем, хорошо? Еще по пиву, не правда ли? Гарсон! Два пива!

Потом, когда они выпили, журналист спросил:

— Ты бы хотел немного прогуляться, в течение часа?

— Ну, конечно.

И они пошли в сторону улицы Мадлен.

— Что бы нам теперь сделать? — спросил Форестье. — Говорят, что парижский фланёр может всегда рассчитать, чем заняться; это неправда. Что касается меня, когда я вечером хочу пройтись, никогда не знаю, куда пойти. В Булонский лес недостаточно занимательно с женщиной, и они не всегда под рукой, кафе-концерт может развлечь моего фармацевта и его жену, но не меня. Тогда что делать? Ничего. Здесь должен быть летний сад, как парк Монсо, открытый ночью, где можно послушать очень хорошую музыку, выпив чего-нибудь свежего под деревьями. Это не место для удовольствия, но место прогулки. Мы заплатим за вход и, наконец, привлечем красивых дам. Можем пойти на песчаную аллею, освещенную электричеством, и сесть, если захотим послушать музыку вблизи или издали. Это немного похоже на Музара, но со вкусом бастринга[1], много воздуха для танца, мало слышно и мало тени, нужен очень хороший, очень просторный садик. Это было бы мило. Куда ты бы хотел пройтись?

Озадаченный Дюруа не знал, что сказать; наконец, он решился.

— Я не знаю Фоли-Бержер. Я бы там прошелся.

Его товарищ воскликнул:

— Фоли-Бержер? Боже! Мы испечемся там, как в жаровне! В любом случае, это забавно.

И они повернулись на каблуках, чтобы пойти на улицу Фобург-Монмартр.

Фасад освещенного здания бросал сильный свет на четыре улицы, сходившиеся перед ним. Цепочка фиакров ждала на выходе.

Форестье вошел, Дюруа остановился:

— Мы забыли пройти к кассе.

Второй ответил значительно:

— Со мной платить не нужно.

Когда они приблизились к контролю, три контролера приветствовали их. Тот, который стоял посредине, пожал ему руку. Журналист спросил:

— У вас есть хорошая ложа?

— Ну, конечно, мосье Форестье.

Он взял купон, толкнул стеганую дверь, отделанную кожей, и они оказались в зале.

Как легкий туман, табачный дым немного летел с одной и с другой стороны театра. И без конца отовсюду, изо всех сигар, изо всех сигарет, которые курили эти люди, поднимались тонкие белесоватые нити легкого тумана, который накапливался у потолка и образовывал вокруг люстры над первой галереей, наполненной зрителями, широкий купол, небо, создаваемое дымом.

В огромном входном коридоре, где все прогуливались, где бродило племя нарядных девушек, смешивавшихся с темной толпой мужчин, группа женщин ждала приходящих перед одним из трех прилавков, где царствовали, увядали и блекли три торговца напитками и любовью.

---

[1] Бастринг — пирушка в кабаке.

В высоких окнах позади них отражались их спины и лица прохожих.

Форестье представлялся, быстро двигаясь, как человек, который имеет право.

Он подошел к билетерше.

— Ложа семнадцать? — спросил он.

— Здесь, мосье.

И их заперли в маленькой деревянной коробке, обитой красным, которая имела четыре стула того же самого цвета, так близко стоявших, что едва можно было пройти между ними. Два друга сели; и справа, и слева с двух концов шла округленная линия, оканчивавшаяся сценой, и в таких же коробках сидели люди, у которых не было видно ничего, только голова и грудь.

На сцене три молодых человека в трико, большой, средний и маленький, упражнялись на трапеции.

Сначала выступил высокий, поприветствовав публику, и движением руки как бы послал поцелуй.

Под трико были видны мускулы его рук и ног; он выпячивал грудь, чтобы скрыть свой выпуклый живот; и его фигура казалась фигурой мальчика-парикмахера, так как аккуратный пробор разделял его волосы посредине головы на две равные части. Грациозным прыжком он достиг трапеции, или повис на руках, поворачиваясь вокруг, как на запущенном колесе, где, перебирая руками, держался неподвижно, горизонтально лежа в пустоте, силой запястий только связанный с перекладиной. Потом он спрыгнул на землю, заново приветственно улыбнулся под аплодисменты оркестра, и собирался держаться напротив украшений, демонстрируя каждый раз мускулатуру ног.

Второй, менее высокий и более приземистый, выступил вперед и повторил то же самое упражнение, которое последний начал снова, посреди успеха, более замеченное публикой.

Дюруа почти не интересовался представлением, а вертел головой, рассматривая большую прогулку мужчин и уличных женщин.

Форестье сказал ему:

— Ну, обратите внимание на оркестр: только буржуа с их женами и детьми, с довольно глупыми головами пришли посмотреть. В бульварных ложах несколько артистов и женщин полусвета, И позади нас царит самое забавное смешение, которое может быть в Париже. Кто эти люди? Последуйте за ними. Все профессии, все касты, но негодяи доминируют. Вот служащие, служащие банка, магазина, министерства, репортеры, сутенеры, офицеры-буржуа в липкой одежде, которые ходят пообедать в кабаре, выходят из оперы перед входом итальянцев, и потом еще все эти подозрительные светские люди, не поддающиеся анализу. Что касается женщин, просто как клеймо: производительница супов из Америки, девушка за один-два луидора, которая подстерегает незнакомца за пять луидоров, предупреждает завсегдатаев, когда она свободна.

За шесть лет уже знаешь всех, видишь всех, все вечера, все годы те же самые места, исключая гигиеническую остановку в Сэн-Лазар и в Лурсине.

Дюруа больше не слушал. Одна из женщин, облокотившаяся на их ложу, смотрела на него. Это была крупная белокожая брюнетка, с черными глазами, вытянутыми, подкрашенными карандашом, обрамленными огромными дурацкими ресницами. Ее слишком сильная грудь натягивала темный шелк ее платья, а ее подкрашенные красным, как рана, губы представляли что-то звериное, пламенное, возмущающее, но горели желанием. Знаком головы она позвала одну из проходивших подруг, белокожую с рыжими волосами, такую же полную, и достаточно громко, чтобы быть услышанной, она сказала той:

— Ну, вот красавец, если захочет со мной за десять луидоров, я не скажу «нет».

Форестье обернулся и, улыбаясь, похлопал Дюруа по ноге:

— Это для тебя. Будешь иметь успех, мой дорогой. Мои комплименты.

Бывший унтер-офицер покраснел; машинальным движением в кармане своего жилета он нащупал две золотые монеты.

Занавес опустился; оркестр теперь играл вальс.

Дюруа сказал:

— Давай пройдемся по галерее?

— Как ты хочешь.

Они вышли, оказавшись в потоке прогуливавшихся. Спешка, толчея, объятия, покачивания, они шли, пока перед их глазами не возник человек в шляпе. Девушки, две за двумя, проходили в этой толпе мужчин, с легкостью проходили через нее и скользили между локтей, грудей, спин, как будто бы они были у себя дома, в комфорте, как рыбы в воде посреди этого потока мужчин.

Восхищенному Дюруа оставалось идти и пить опьяняющий воздух забавного женского благоухания, испорченный табаком и мужской вонью. Но Форестье потел, вздыхал, кашлял.

— Пойдем в сад, — сказал он.

И, повернув налево, они проникли в пространство крытого садика, где давали прохладу два больших уродливых фонтана. Под тисами и кедрами мужчины и женщины пили за цинковыми столиками.

— Еще пива? — спросил Форестье.

— Да, с удовольствием.

Они присели и стали смотреть на проходящую публику.

Время от времени останавливалась одна бродяжка, потом с банальной улыбкой спрашивала:

— Вы мне что-нибудь предложите, мосье?

— И, поскольку Форестье отвечал: «Стакан воды из фонтана», — она удалилась, бормоча:

— Ну, морда!

Но высокая брюнетка, которая в ложе прислонилась к двум вновь появившимся товаркам, высокомерно шла под руку с крупной блондинкой. Это была хорошо сложенная пара женщин.

Заметив Дюруа, брюнетка улыбнулась ему, как если бы их глаза уже сказали друг другу секретные, интимные вещи. И, взяв стул, она спокойно села лицом к нему, посадила свою подругу, а потом спокойным тоном заказала:

— Гарсон! Два гренадина.

Удивленный Форестье проговорил:

— Тебя это не смущает?

Она ответила:

— Твой друг меня соблазняет. Это настоящий красавец. Я полагаю, что он может свести меня с ума.

Робея, Дюруа не нашелся, что ответить. Он подкрутил свои усы, бестолково улыбнувшись. Официант принес сироп, который дамы выпили залпом. Потом они поднялись, и брюнетка, с дружеским кивком головой, легко ударив Дюруа веером по руке, сказала:

— Спасибо, мой котеночек. Ты не сказал ни словечка.

И она вышла, покачивая задом.

Тогда Форестье принялся смеяться:

— Скажи, пожалуйста, старик, знаешь ли ты, что имеешь настоящий успех у женщин? Нужно этим пользоваться. Это может тебя далеко завести.

И он умолк на секунду, а повторил мечтательным тоном человека, который думает вслух:

— Это все еще для них мы приходим быстрее.

И, поскольку Дюруа улыбнулся, нечего не ответив, Форестье спросил:

— Ты еще останешься? Я бы хотел уйти. Мне достаточно.

— Да, я останусь еще ненадолго, ведь еще не поздно.

Форестье поднялся.

— Тогда до завтра, прощай. Не забудешь? Улица Фонтень, 17. В полвосьмого.

— Услышано. До завтра. Спасибо.

Они пожали друг другу руки, и журналист удалился.

С момента его исчезновения Дюруа почувствовал себя свободным. Он радостно пощупал два золотых в своем кармане; потом поднялся, просматривая толпу, которую он прорывал взглядом. Он быстро заметил двух женщин, блондинку и брюнетку, которые, прогуливаясь, сквозь толпу шли с видом гордых нищих.

Он прошел прямо мимо них и, когда они были рядом, ни на что больше не осмелился.

Брюнетка сказала ему:

— Куда ты подевал свой язык?

Он пробормотал: «Черт», — не успев произнести ничего, кроме этого слова.

Все три человека прервали прогулку, внезапно остановившись.

Тогда одна из женщин вдруг спросила:

— Пойдешь ко мне?

И он, дрожа от желания, резко ответил:

— Да, но у меня в кармане только луидор.

Она равнодушно улыбнулась.

— Это ничего.

И она взяла его руку как знак обладания.

И, пока они шли, он подумал о двадцати франках, которые он мог легко добыть, взяв в аренду костюм на завтра.

Глава 2

— Мосье Форестье, пожалуйста!

— На третьем этаже, дверь налево.

Раз зашла речь о его жильце, консьерж ответил доброжелательным тоном. Жорж Дюруа поднялся по лестнице.

Он был немного смущен, напуган и чувствовал себя неловко. В первый раз в жизни он надел такой костюм, и все в его одеянии беспокоило его.

Он чувствовал недостатки во всем: в ботинках не лакированных, но достаточно тонких, потому что он имел кокетство в ногах; в рубашке за 4, 5 франка, купленной утром в «Лувре», чей очень тонкий нагрудник уже помялся. Остальные рубашки на каждый день имели более или менее серьезные изъяны, и он не мог использовать даже наименее поврежденные их них.

Его немного слишком широкие брюки плохо очерчивали ногу, казались свернувшимися вокруг его ног и измятыми, чужими, случайными. Сама по себе одежда не была плохой, все это было не по размеру.

Со стучащим сердцем, с тревогой, боясь показаться смешным, он медленно поднялся по лестнице, и вдруг прямо перед ним возникло лицо человека в парадном одеянии, который посмотрел на него. Они находились так близко один к другому, что Дюруа сделал движение назад, а потом остановился, пораженный: это был он сам во весь рост в отражении высокого зеркала, которое создавало на лестничной площадке долгую перспективу галереи.

Порыв радости заставил его вздрогнуть, он уже судил о себе лучше, хотя ему и не верилось.

Дома у него было только маленькое зеркальце для бритья, поэтому он не мог созерцать себя целиком и видел только отдельные части своего импровизированного туалета. Он преувеличил свое несовершенство, доведя себя до безумия мыслью о том, что выглядит карикатурно.

Но вот, вдруг обозрев себя в зеркале, он себя даже не узнал; он принял себя за другого, за светского человека, и, на первый взгляд, нашел себя очень сильным, очень шикарным.

И теперь, заботливо глядя на себя, он признал, что по-настоящему все было удовлетворительно.

Тогда он попытался поступить, как актеры, репетирующие, выучивающие свою роль. Он улыбнулся, протянул руку, сделал жесты, выразил чувства: удивления, удовольствия, одобрения: и он начал искать градус улыбки, выражение глаз, чтобы продемонстрировать галантность перед дамами, заставить их понять, что ими восхищаются и что их желают.

Отворилась дверь на лестницу. Он боялся быть захваченным врасплох и начал быстро подниматься, испугавшись, что мог быть увиденным, когда, манерничая, изображал себя каким-то гостем своего друга.

Поднявшись на второй этаж, он заметил другое зеркало и замедлил движение, чтобы посмотреться. Сзади он показался себя чрезвычайно элегантным. Он хорошо всмотрелся. Его неумеренная вера в самого себя наполнила его душу. Конечно, он преуспел в своей подготовке и в желании прийти, в решимости, которую он знал в себе, и в духовной независимости. У него было желание побежать, прыгнуть, вскарабкавшись на последний этаж. Он остановился перед третьим зеркалом, привычным движением причесав усы, снял свою шляпу чтобы поправить шевелюру, бормоча вполголоса, как он часто делал: «Вот отличное изобретение». Потом, взяв в руку колокольчик, он позвонил.

Дверь открылась почти сразу, и он оказался рядом с камердинером, одетым в черное, серьезным, выбритым, так превосходно державшимся, что Дюруа снова смутился, не понимая, откуда вновь взялась эта волна эмоций и бессознательное сравнение их одежд. Этот лакей в лакированных туфлях предложил взять пальто, которое Дюруа держал в руке, пряча пятна.

— О ком я должен доложить?

И он бросил его имя за приоткрытую дверь гостиной, куда вошел Дюруа.

Но Дюруа вдруг потерял свой апломб и, запыхавшись, почувствовал искалеченность страхом. Он собирался сделать первый шаг в своем ожидаемом, мечтанном существовании. Однако он выступил вперед. Молодая блондинка стояла совсем одна и ждала кого-то в большой, хорошо освещенной и полной растений, подобной оранжерее комнате.

Он остановился, совершенно сбитый с толку. Кто эта улыбающаяся дама? Потом он понял, что Форестье был женат, и мысль о том, что красивая элегантная блондинка должна быть женой его друга, прекратила его испуг.

Он пробормотал:

— Мадам, я…

Она протянула ему руку.

— Я знаю, мосье. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней вечерней встрече, и я очень рада его хорошему настроению, у него была славная мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами…

Он покраснел до ушей, не зная более, что сказать, почувствовал себя, как на экзамене, инспектируемым с головы до ног, взвешиваемым, осуждаемым.

У него было стремление извиниться, объяснить неряшливость своего костюма, но он ничего не нашел в ответ и не посмел коснуться столь трудной темы.

Он сел в кресло, на которое ему указали, и, когда почувствовал под собой эластичный и мягкий велюр сиденья, когда он почувствовал, что погрузился, прислонился, был обнят этой мягкой мебелью, чьи спинка и подлокотники мягко и деликатно поддерживали его, ему показалось, что он вошел в новую очаровательную жизнь, в которой он завладел чем-то усладительным, что он становился кем-то спасенным; и он посмотрел на мадам Форестье, не сводившую с него глаз.

Она была одета в кашемировое бледно-голубое платье, которое красиво обрисовывало ее гибкую талию и крупную грудь.

Руки и горло ее были окружены белой пеной кружев, украшавших корсаж и короткие рукава, волосы были подняты кверху, причесаны немного на затылок, создавали легкое светлое облако над шеей.

Дюруа почувствовал на себе ее взгляд, который говорил ему, без сомнения, что дама встречалась с ним накануне в Фоли-Бержер. У нее были серые глаза, серо-голубые, которые выражали странную экспрессию, тонкий нос, сильные губы, немного мясистый подбородок, неправильное и соблазнительное лицо, полное миловидности и лукавства. Это было одно из лиц женщин, каждая черта которых пробуждает особую грацию, имеет смысл, каждое движение которых говорит или скрывает что-то.

После короткого молчания она спросила его:

— Вы давно в Париже?

Он ответил, немного владея собой:

— Несколько месяцев, мадам. Я работник железной дороги; но Форестье позволил мне надеяться, что благодаря ему я смогу проникнуть в журналистику.

Она улыбнулась более заметной, более доброжелательной улыбкой и пробормотала, понизив голос:

— Я знаю.

Звонок прозвенел снова. Слуга объявил:

— Мадам де Марель.

Это была маленькая брюнетка, из тех, кого называют брюнетками.

Она быстро вошла, и она казалась нарисованной, отлитой с головы до ног в простом темном платье.

Одна красная роза, заколотая в ее черных волосах, неистово привлекала взгляд и, казалось, отмечала ее лицо, выделала его особенность, придавала ему живую и неожиданную ноту.

Ее сопровождала девочка в коротком платье. Мадам Форестье бросилась навстречу подруге:

— Добрый вечер, Клотильда.

— Добрый вечер, Мадлен.

Они расцеловались. Потом девочка, держа свою голову с уверенностью взрослой, проговорила:

— Добрый вечер, кузина.

Мадам Форестье поцеловала ее; потом началось представление:

— Мосье Дюруа, старый товарищ Шарля.

— Мадам де Марель, моя подруга и немного моя родственница.

Потом мадам Форестье добавила:

— Вы знаете, у нас здесь без церемоний, без форм и поз. Это заметно, не правда ли?

Молодой человек поклонился.

Но дверь снова открылась, и вошел маленький толстый, короткий и круглый мосье, дав руку высокой и красивой женщине, более высокой, чем он, намного более молодой, с отличными манерами и серьезными движениями. Это был мосье Вальтер, депутат, финансист, человек денег и дел, еврей и южанин, директор «Французской жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равалю, дочь банкира.

Потом появились один за другим очень элегантный Жак Риваль и Норбер де Варан (воротник его пальто немного блестел от трения с волосами, которые падали на плечи и, казалось, рассыпали несколько крупинок белой перхоти).

Его плохо завязанный галстук казался не первого сорта. Он выступил вперед с грацией старого щеголя и, взяв руку мадам Форестье, поцеловал ее запястье. При движении, которое он сделал, наклонившись, его длинные волосы разлились, как вода, по руке молодой женщины.

Извинившись за опоздание, в свою очередь, вошел Форестье. Но по делу в газете его задержал Марель. Мосье Марель, радикальный депутат, адресовал вопрос министерству, по поводу кредита, связанного с колонизацией Алжира.

Слуга воскликнул:

— Мадам, кушать подано!

И все прошли в столовую.

Дюруа разместился между мадам Марель и ее дочерью. Он снова почувствовал себя смущенным, боясь допустить какую-то ошибку в правилах поведения на фуршете, в ложках ли, в бокалах ли. Их было четыре, из них один — легкого голубого оттенка. Что можно было выпить из такого?

Ничего не говорилось, пока ели суп, а потом Норбер де Варан спросил:

— Вы читали о процессе Готье? Как забавно!

И начали обсуждать сложную историю прелюбодеяния с вымогательством.

Но говорили не так, как говорят в семьях, говорили о событиях, как их освещает пресса, как говорят о болезни между собой врачи или об овощах в своем кругу — лавочники. Не возмущались, не удивлялись делам, а с профессиональным любопытством, с абсолютным безразличием к самому преступлению искали глубокие, тайные причины. Пытались точно объяснить происхождение поступков, определяющих все мозговые феномены, которые породили драму, научный результат определенного состояния души. Женщины также были страстно увлечены этим занятием, этим расследованием. И другие недавние события были рассмотрены, прокомментированы, повернуты со всех сторон, взвешены в их ценности с практической точки зрения и с той особенной манерой торговцев новостями видеть разносчиков человеческой коме-

дии с красной строки, как торговцы проверяют, поворачивают и взвешивают объекты, которые собираются выставить на публику.

Потом возник вопрос о дуэли, и слово взял Жак Риваль. Это был его конек: никто другой не мог вникнуть в это дело.

Дюруа не осмеливался вставить слово. Иногда он смотрел на свою соседку, чья круглая шея время от времени соблазняла его. Нежный бриллиант на золотой нити спускался от уха, как капля воды, скользящая по телу. Время от времени она делала замечание, которое все время пробуждало на губах улыбку. У нее был забавный, милый, неожиданный вид экспериментирующего ребенка, который видит вещи с беспечностью, судит о них с легким и благожелательным скептицизмом.

Дюруа тщетно искал комплимента для нее и, ничего не найдя, занялся ее дочерью, которой налил выпить, он брал ее тарелку и сервировал. Девочка, более строгая, чем ее мать, благодарила его серьезным тоном, делая кивок головой.

— Вы очень любезны, мосье, — говорила она и с небольшой задумчивостью слушала разговор взрослых.

Обед был очень хорош, и каждый был в восторге. Мосье Вальтер ел, как великан, почти ничего не говорил и косо взирал на всех из-под очков и на блюда, которые ему подавали. Норбер де Варан вытягивал голову так, что иногда капли соуса падали на нагрудник его рубашки.

Форестье, улыбавшийся и серьезный, обменивался с женой умным взглядом, смотрел наподобие того, как совершают вместе трудную работу сообщники, работающие с удовольствием.

Лица становились красными, голоса — набухшими. Время от времени слуга бормотал на ухо гостям: «Кортон»? «Шато Лярус»? Дюруа нашел кортон по своему вкусу, и ему оставалось каждый раз наполнять им бокал. Очаровательная веселость входила в него; жаркое веселье, которое поднималось от живота к голове, бежало по его членам, пронзало всего его целиком. Он чувствовал себя охваченным полным благополучием, благополучием жизни и мысли, тела и души.

И к нему пришло желание говорить, сделаться заметным, быть услышанным, оцененным, как люди, даже мелкие высказывания которых знают и ценят.

Но бесконечный разговор, сцеплявший мысли одних и других, перепрыгивал с одного предмета на другой через слова, ничего не меняя в событиях дня, касаясь, походя, тысячи тем, возвращаясь к большому вопросу мосье Мареля о колонизации Алжира.

Мосье Вальтер между двумя закусками несколько раз пошутил, так как у него был скептический и грубоватый ум. Форестье рассказал свою завтрашнюю статью. Жак Риваль требовал от военного правительства земельных участков, предоставлявшихся после тридцати лет колониальной службы.

— Таким способом, — сказал он, — вы создадите энергичное общество, умеющее знать и любить страну, знающее ее язык и заботящееся обо всех серьезных местных вопросах, с которыми безошибочно столкнутся новички.

Норбер де Варан прервал его:

— Да, они узнают все, кроме сельского хозяйства. Они будут говорить по-арабски, но проигнорируют посадки свеклы и пшеницы. Они будут также сильны в фехтовании, но очень слабы в удобрениях. Напротив, нужно широко открыть эти новые страны всем. Умные люди найдут себе место, а другие погибнут. Это социальный закон.

Последовало легкое молчание. Все улыбнулись.

Жорж Дюруа открыл рот и произнес, удивленный звуком своего голоса, как если бы никогда не слышал его:

— Чего не хватает более всего, так это хорошей земли. По-настоящему плодородные земли стоят так же дорого, как во Франции, и покупаются как вложения денег очень богатыми

парижанами. Настоящие переселенцы — это бедняки, те, кто отправляются в изгнание из-за отсутствия хлеба, бросаются в пустыню, где из-за отсутствия воды нет ничего.

Все посмотрели на него, и он почувствовал, что покраснел. Мосье Вальтер спросил:

— Вы знаете Алжир, мосье?

— Да, мосье, я оставался там двадцать восемь месяцев и жил в трех провинциях.

И вдруг, забыв о вопросе Мареля, Норбер де Варан в подробностях стал расспрашивать его нравах Алжира, которые встретил офицер. Это было в Мзабе, в маленькой странной республике арабов, рожденной посреди Сахары, в самой сухой части этого горячего региона.

Дюруа два раза посетил Мзаб, рассказывал о нравах этой неповторимой страны, где капля воды ценилась на вес золота; где каждый житель участвовал во всех общественных работах; где коммерческая честность прорывалась дальше, чем у цивилизованных народов.

Он рассказывал с некоторым хвастливым воодушевлением, возбужденный вином и желанием понравиться; он поведал полковые анекдоты, об особенностях арабской жизни, о военных приключениях. Он даже нашел несколько колоритных слов, чтобы выразить эти желтые голые земли, нескончаемо печальные под пожирающим пламенем солнца.

Все женщины смотрели на него. Мадам Вальтер медленно пробормотала:

— Из ваших воспоминаний вы сделаете очаровательную серию статей.

Тогда Вальтер посмотрел на молодого человека сквозь стекла своих очков, как он делал, чтобы лучше разглядеть лица. Он посмотрел на посуду ниже.

Форестье использовал момент:

— Мой милый патрон, я вам говорил как-то о мосье Жорже Дюруа и спрашивал, можно ли добавить его ко мне в отдел политической информации. С тех пор как Марамбо нас покинул, у меня не было никого, у кого можно было бы получить срочную конфиденциальную информацию, и газета страдает от этого.

Папаша Вальтер сделался серьезен и, подняв очки, внимательно посмотрел Дюруа прямо в лицо. Потом он сказал:

— Уверен, у мосье Дюруа оригинальное мышление. Если он хочет поговорить со мной, завтра в три часа мы это устроим.

Потом, помолчав, он повернулся к молодому человеку:

— Ну, сделайте какую-нибудь необыкновенную серию статей об Алжире. Вы расскажете ваши воспоминания и смешаете их с вопросом колонизации. Это актуально, очень актуально, и я уверен, что это понравится большинству наших читателей. Но поторопитесь! Первая статья мне нужна завтра или послезавтра, пока спорят в Палате, надо заинтересовать публику.

Мадам Вальтер добавила с серьезной грацией, которую она распространяла на все, выражавшая словами атмосферу расположения:

— Есть очаровательное название: «Воспоминания охотника Африки»; не правда ли, мосье Норбер?

Старый поэт, поздно пришедший к славе, ненавидел и боялся новичков; он сухо ответил:

— Да, отличное; с условием, чтобы следующая статья значилась в примечании, так как наибольшая трудность — правильная нота, то, что в музыке называется интонацией.

Мадам Форестье укрыла Дюруа взглядом улыбающимся и защищающим, взглядом знатока, который, кажется, говорил:

— Ты добьешься.

Мадам де Марель повернулась к нему с несколькими словами, и бриллиант в ее ухе трепетал без конца, как тонкая капля воды, открепившаяся и упавшая.

Маленькая девочка оставалась неподвижной и серьезной, голова ее склонилась к тарелке.

Но слуга сделал круг вокруг стола, разливая в голубые бокалы вино Иоганнинсберга; и Форестье поднял тост, приветствуя мосье Вальтера:

— За долгое процветание «Французской жизни»!

Все поклонились улыбавшемуся патрону, и Дюруа, пьяный от триумфа, выпил одним махом. Он бы опустошил целую бочку, так ему казалось; он бы съел быка, сжал бы в объятиях льва. Он чувствовал в себе нечеловеческую силу, дух непобедимой решительности и бесконечной надежды. И вот теперь среди всех этих людей он был, как у себя, пришел, чтобы занять свое место.

Его взгляд оставил на лицах новую уверенность, и он осмелился в первый раз адресовать слова своей соседке:

— Вы знаете, мадам, у вас самые красивые серьги, которые я когда-либо видел.

Она повернулась к нему, улыбнувшись:

— Мне пришло в голову повесить бриллианты просто на краешек нити. кажется, это похоже на росу, не правда ли?

Он пробормотал сконфуженно, стыдясь своей отваги и боясь сказать глупость:

— Это очаровательно… но уши тоже придают ценность вещи.

Она поблагодарила его взглядом, одним из тех ясных женских взглядов, которые пронзают до самого сердца.

И, поскольку он повернул голову, он встретился с глазами мадам Форестье, все время доброжелательными, и был уверен, что видит самую живую веселость, лукавство и поощрение.

Теперь все собравшиеся говорили в один и тот же момент, с жестами и вскриками голоса; спорили о большом проекте железнодорожного метрополитена. Тема не иссякала до конца десерта; у каждого было много вещей, о которых можно сказать о медлительности сообщения в Париже: о недостатках трамвая, о скуке омнибуса, о грубости кучера фиакра.

Потом покинули столовую, чтобы приняться за кофе. Дюруа, ради забавы, предложил свою руку юной леди. Она приподнялась на цыпочки, чтобы опереться на локоть своего соседа.

Войдя в гостиную, он снова почувствовал, что находится в оранжерее. Огромные пальмы в четырех углах комнаты открывали их элегантные листья, протягиваясь до самого потолка, а потом расширялись к струе воды. С двух сторон камина каучуки, круглые, как колонны, размещали свои широкие темно-зеленые листья, а на пианино располагались два неизвестных куста, круглых, покрытых цветами, один белыми, а другой — розовыми, имевшими запах неправдоподобных дурманящих растений, слишком прекрасных для того, чтобы быть настоящими.

Воздух был свеж и пронзал туманным ароматом, который невозможно определить или назвать.

И молодой человек, уже лучше владея собой, внимательно осматривал помещение. Оно не было большим; кроме кустов, ничто не привлекало взгляда; не бросался в глаза никакой яркий цвет; но в самом комфорте чувствовались спокойствие и довольство; он нежно обволакивал, нравился, окружал тело, как ласка.

Стены были обтянуты старинной бледно-фиолетовой тканью, испещренной маленькими шелковыми желтыми цветами, грубыми, как мухи.

Портьеры из серо-голубого драпа, солдатского сукна, на котором были вышиты несколько красных шелковых гвоздик, ниспадали у дверей; сиденья всех форм и размеров разбросали по комнате в случайном порядке; здесь находились длинные кресла, огромные и крошечные, пуфы и табуреты, покрытые шелком в стиле Луи XVI или прекрасным бархатом Утрехта на кремовом фоне с гранатовыми узорами.

— Будете кофе, мосье Дюруа?

И мадам Форестье с дружеской улыбкой, не покидавшей ее губ, протянула ему полную чашку.

— Да, мадам, благодарю Вас.

Он взял в руки чашку и наклонился, полный страдания, чтобы серебряными щипцами взять кусочек сахара в сахарнице, которую держала девочка; молодая женщина сказала ему вполголоса:

— Поухаживайте за мадам Вальтер.

Потом она удалилась, прежде чем он смог ей ответить хоть слово.

Сначала он выпил свой кофе, который боялся пролить на ковер; потом в более свободном состоянии духа искал способа приблизиться к жене своего нового директора и начать разговор.

Вдруг он заметил, что она держит в руке пустую чашку; и, поскольку она находилась далеко от стола и не знала, куда ее поставить, он бросился к ней.

— Позвольте, мадам.

— Спасибо, мосье.

Он взял чашку, а потом вернулся.

— Если бы вы знали, мадам, какие прекрасные мгновения провел я вместе с «Французской жизнью», когда был там, в пустыне. По-настоящему, это единственная газета, которую можно читать за пределами Франции, потому что она самая литературная, самая умная, менее монотонная, чем другие. Там можно найти все.

Она улыбнулась с любезным безразличием и серьезно ответила:

— Мосье Вальтеру было трудно создать такой тип газеты, который отвечал бы новой потребности.

И они начали говорить. У него выходили легкие и банальные слова, было очарование в голосе, много грации во взгляде и неотразимое обольщение в усах. Усы взлохмаченные над губой, вьющиеся, подстриженные, красивые, русые с рыжиной, были более бледные на острых краях. Дюруа и мадам Вальтер говорили о Париже, об окружающей среде, о берегах Сэны, о городах на воде, об удовольствиях лета, обо всех общих вещах, о которых можно говорить бесконечно, не уставая.

Потом, поскольку приблизился Норбар де Варан со стаканом ликера в руке, Дюруа из осторожности удалился.

Мадам де Марель, которая пришла поговорить с мадам Форестье, обратилась к нему:

— Ну! мосье! — резко сказала она, — итак, вы хотите почувствовать журналистику?

Тогда в туманных словах он заговорил о своих проектах; потом начал такой же разговор, который имел с мадам Вальтер; но, поскольку он лучше владел темой, он показал свое превосходство, когда повторил вещи, уже слышанные им от других. И без конца смотрел в глаза своей соседке, как будто хотел придать тому, о чем он говорил, глубокое чувство.

Она, в свою очередь, рассказывала ему анекдоты, с легким задором женщины, которая знает о своем остроумии и хочет быть смешной; и, становясь фамильярной, она клала руку на его руку, понижала голос, говоря ни о чем, и речь приобретала интимный характер. Он внутренне воодушевлялся, касаясь этой юной женщины, которая занималась им. Он сразу захотел посвятить себя ей, защитить ее, показать, что ценит ее, и опоздание, с которым он отвечал ей, указывало на занятость его мыслей.

Но вдруг без причины мадам Марель позвала:

— Лорин!

И девочка подошла.

— Садись здесь, мое дитя, ты замерзнешь рядом с окном.

И Дюруа охватило шутливое желание поцеловать девочку, как если бы что-то от поцелуя должно было вернуться к матери.

Галантным и отеческим тоном он спросил:

— Позволите ли мне вас поцеловать, мадмуазель?

С удивлением девочка подняла на него глаза.

Мадам Марель сказала, смеясь:

— Ответь: «Сегодня я согласна, мосье, но так не будет всегда».

Дюруа сидел немедленно взял на колени Лорин, потом провел губами по тонким волнам волос ребенка. Мать удивилась.

— Ну, она не сбежала, это удивительно. Обычно она позволяет целовать себя только женщинам. Вы неотразимы, мосье Дюруа.

Он покраснел, не отвечая, и легким движением покачал девочку на своей ноге.

Мадам Форестье приблизилась и вскрикнула от удивления:

— Ну, смотрите! Вот Лорин приручена, какое чудо!

С сигарой во рту подошел Жак Риваль, и Дюруа поднялся, чтобы уйти, боясь каким-нибудь неосторожным словом испортить исполненное дело; труд его завоеваний начался.

Он простился и нежно пожал маленькие ручки женщин, а потом с силой пожал руки мужчинам. Он заметил, что у Жака Риваля рука была сухой и горячей и сердечно ответил на его пожатие; что касается Робера де Варана, его рука была влажной и холодной и текла, скользила между пальцами; рука папаши Вальтера была холодная и слабая, без энергии, без экспрессии; а у Форестье — толстая и теплая. Его друг сказал ему вполголоса:

— Завтра в три часа, не забудь.

— О нет, ни о чем не беспокойся.

Когда он очутился на лестнице, его первым желанием было спуститься бегом, такой страстной была его радость. И он поспешил, перескакивая через две лестничные ступеньки. Но вдруг заметил большое зеркало на втором этаже, в котором скакал пришедший, торопившийся ему навстречу; и он тотчас остановился, пристыженный, как будто его уличили в вине.

Потом он посмотрел на себя внимательно, изумленный по-настоящему красивым видом молодого человека. Затем с самодовольством он улыбнулся, вышел из своего образа и очень низко, церемонно поклонился себе, как приветствуют великих людей.

Глава 3

Когда Жорж Дюруа оказался на улице, он забеспокоился о том, что ему предстоит сделать. Он желал убежать, мечтать, идти вперед, грезя о будущем и дыша нежным ночным воздухом; но его преследовала мысль о серии статей, требуемых папашей Вальтером, и он решил сразу вернуться, чтобы приняться за работу.

Он шел большими шагами, достиг Больших бульварав и пошел на улицу Бурсо, где жил. Его шестиэтажный дом был населен двадцатью супружескими семьями буржуа и служащих; поднимаясь по лестнице, грязные пролеты которой освещал зажженными спичками, где валялись бумаги, бумажки от сигарет, остатки кухонной кожуры, он ощущал отвратительно брезгливое чувство, спешку выбраться оттуда и поселиться в чистых апартаментах с коврами, так, как жили богатые люди. Тяжелый запах пищи из выгребной ямы человечества; застойный запах грязи и старых стен; никаким движением воздуха нельзя было изгнать его из этого жилища, заполненного сверху донизу.

Комната молодого человека на пятом этаже представляла собой как бы глубокую дыру в огромной траншее Западной железной дороги, на самом выходе из туннеля, рядом с вокзалом Батиньоль. Дюруа открыл свое окно и облокотился на ржавую железнодорожную опору.

Рядом с ним, в глубине темной дыры, три красных неподвижных знака напоминали вид грубых глаз животного; немного дальше были видны другие, и потом другие, и еще дальше. Каждое мгновение слышались продолжительные и короткие свистки в ночи; некоторые приближались, другие были еле заметны и приходили со стороны Аньера. Они менялись, подобно человеческому голосу. Один из них приближался, исторгался один и тот же жалобный крик, который от секунды к секунде нарастал, и сразу появлялся сильный желтый свет; Дюруа смотрел, как длинные четки вагонов поглощает туннель.

Потом он сказал себе: «Ну, работу!» Он поставил свечу на стол; но в момент, когда принялся писать, заметил, что у него нет ничего, кроме бумаги для писем. Жалко, придется развернуть лист во всем его великолепии. Он обмакнул перо в чернила и сверху написал самым красивым почерком:

Воспоминания африканского охотника.

Потом он стал искать начало первой фразы.

Он подпер лоб рукой, остановив глаза на белом листе перед собой.

Что он мог бы сказать? Он не мог вспомнить ничего из того, что рассказывал сегодня: ни анекдота, ни факта — ничего. Вдруг он подумал: «Нужно, чтобы я начал с моего отъезда». И он написал: «Это было в 1874 году, примерно 15 мая, когда изнемогшая Франция отдыхала после бедствий ужасного года».

И он остановился, не зная, как привести то, что следовало: свою погрузку на корабль, свое путешествие, первые эмоции.

После десяти минут размышлений он решил отложить на завтра приготовление начала и попытаться сразу перейти к описанию Алжира.

И он набросал: «Алжир — совсем белый город», — не имея возможности прийти к чему-то еще. И в воспоминании он заново увидел красивый ясный город; спускающиеся, словно каскадом, с высоты горы к морю ровные дома; но не находил больше слов, чтобы выразить то, что он видел, то, что чувствовал.

После большого усилия он добавил: «Частично он населен арабами». Потом он бросил свое перо на стол и поднялся.

На маленькой железной кровати, где тело создало углубление, он увидел одежды всех дней, брошенные там, пустые, изношенные, мятые и негодные, как пожитки смерти. На соло-

менном стуле его шелковая шляпа, единственная шляпа, казалась открытой для получения милостыни.

Стены комнаты, поклеенные серыми обоями с голубыми букетами, имели столько подозрительных, старых пятен, старых темных пятен, о природе которых трудно было сказать: раздавленные насекомые или масляные пятна, пятна от жирных пальцев с помадой или мыльная пена для умывания. Это он чувствовал постыдной нищетой, нищетой, обрамлявшей его Париж. Раздражение поднималось в нем против бедности собственной жизни. Он сказал себе, что сразу же нужно съехать отсюда, чтобы завтра же закончить это бедственное существование.

Пыл работы вскоре вернулся к нему, он снова сел за стол и заново начал искать фразы, которыми можно лучше рассказать о странной и очаровательной физиономии Алжира, этой прихожей глубокой и таинственной Африки, Африки бродячих арабов и неизвестных негров, соблазнительной и неизученной Африки, которая иногда показывает нам в общественных садах невероятных животных, напоминающих творения из сказок фей, страусов, этих экстравагантных кур, газелей, божественных коз, удивительных и гротескных жирафов, серьезных верблюдов, чудовищных гиппопотамов, бесформенных носорогов и этих чудовищных братьев человека — горилл.

Он почувствовал туманно мысль, которая к нему пришла, он сказал бы ее, может быть, но не мог сформулировать записанными словами. Беспомощность взбесила его, и он снова поднялся, его руки повлажнели от пота, кровь стучала в висках.

Его взгляд упал на листок с бельем для прачки, принесенный вечером консьержем, его вдруг охватило невероятное отчаяние. Вся его радость исчезла в секунду, вместе со всей его верой в себя и с верой в будущее: все кончено, все пропало, и он ничего не сотворит, ничего не будет. Он почувствовал пустоту, неспособность, бесполезность, осужденность.

И, повернувшись, он оперся локтями на окно в тот самый момент, когда с яростным и внезапным шумом из туннеля выходил поезд. Поезд шел туда, через поля и равнины, к морю. И в сердце Дюруа вошло воспоминание о родителях.

Он, этот транспорт, собирался пройти рядом с родительским домом, всего в нескольких лье от его жилища. Он снова увидел его, свой маленький дом, на вершине холма над Руаном, и огромную долину Сэны на въезде в деревню Кантелю.

Его отец и мать держали маленький кабак[2] «Прелестный вид», с недорогой едой и танцами под аккордеон, куда приходили обедать по воскресеньям буржуа из пригорода. Они хотели сделать из своего сына мосье и устроили его в коллеж. Занятия закончились, а бакалавриата не было, и он уехал, чтобы стать офицером, полковником, генералом. Но отвращение к военной службе было так сильно, что через пять лет он мечтал попытать счастья в Париже.

Он приехал, но его время прошло, несмотря на молитвы отца и матери; хотя их мечта улетела, они хотели сохранить сына возле себя. В свою очередь, он надеялся на будущее**;** он увидел грядущий триумф через события, еще неясные в своем роде, так что он уверенно знал, что сумеет воплотить их и поддержать.

В полку он имел успехи, удачу и любовные приключения в самом высшем свете. Он соблазнил дочь одного чиновника, которая хотела все бросить, чтобы следовать за ним, и жену одного поверенного, которая от отчаяния хотела утопиться.

Его товарищи говорили о нем:

— Это хитрец, проныра и подлец, который умеет выбираться из беды.

И он обещал себе на самом деле быть хитрецом, пронырой и подлецом.

Его урожденное нормандское сознание, тертое практической жизнью гарнизонного существования, раздутое примерами рейдерства в Африке, незаконной прибылью, подозрительным обманом, было также подхлестано идеей чести, которая имеет вес в армии, воен-

[2] По-видимому, подобный кабачок, или un petit cabaret, une guinguette изображен на картине Ренуара «Завтрак гребцов».

ной бравадой и патриотическим чувством, великодушными историями, рассказанными между военными, и славой профессии, — оно становилось коробкой с тройным дном, где можно найти все.

Но желание царствовать оказалось определяющим.

Не осознавая, он вернулся к мечтам, как он делал каждый вечер. Он воображал великолепное любовное приключение, которое приводило его вдруг к реализации надежд. Он уже женился на дочери банкира или замечательного человека из знати, встреченного на улице и им с первого взгляда завоеванного.

Резкий гудок локомотива, одиноко вышедшего из туннеля, как большой кролик из своей норы, бежавшего на всех парах, тянувшегося в гараж по рель**сам**, когда Жорж собирался отдохнуть, пробудил его от мечты.

Тогда охваченный смутной и радостной надеждой, которая всегда преследовала его, он бросил случайный поцелуй в ночь, любовный поцелуй образу воображаемой женщины, поцелуй желания желанному счастью. Потом он закрыл окно и начал раздеваться, бормоча:

— Да, завтра утром я напишу лучше. Сегодня вечером у меня нет свободного настроя. И потом, может быть, я выпил лишнего. Невозможно хорошо работать в таком состоянии.

И он пошел в постель и, погасив свет, почти сразу же заснул.

Он проснулся в ранний час, как просыпаются в дни живой и доброй надежды и успеха, выпрыгнув из постели, раскрыл свое окно, чтобы, как сказал бы он, съесть хорошую порцию свежего воздуха. Дома на улице Рима, напротив, с другой стороны широкого железнодорожного пути, сияли при свете восходящего солнца и казались окрашенным бледной ясностью. Справа, вдалеке, в голубоватом и легком тумане, похожем на маленькую плывущую прозрачную вуаль, которую бросили на горизонт, можно было видеть холмы Аржантёй, Саннуанские высоты и мельницы Оржемонта.

Несколько минут Дюруа оставался без движения, глядя на далекую деревню. Он пробормотал: «Чертовски хорош такой день». Потом он подумал, что необходимо работать, и вдруг вспомнил, что надо отправить десять су сыну консьержки, чтобы тот сказал в бюро, что Дюруа болен.

Он сидел перед своим столом, обмакивал перо в чернильницу, подперев лоб рукой и ища идеи. Все было тщетно, ничего не получалось.

Однако он не был удручен. Он подумал: «Ба, у меня нет привычки». Эту профессию нужно изучать, как все профессии. Нужно, чтобы в первый раз мне помогли. Я найду Форестье, который в десять минут поправит мою статью». И он оделся.

И, когда вышел на улицу, он рассудил, что еще очень рано, чтобы представляться своему товарищу, который поздно лег спать. И он решил тихо прогуляться под деревьями на Большом бульваре.

Не было еще девяти часов, как он добрался до парка Монсо, совсем свежего и влажного от полива.

Сев на скамью, он принялся мечтать. Рядом с ним прогуливался очень элегантный молодой человек, без сомнения, ожидавший какую-то даму.

Быстрым шагом она подошла под вуалью, взяла его под руку, и после короткого рукопожатия они удалились.

Робкая необходимость любви вошла в душу Дюруа, необходимость любви выдающейся, благоуханной, изящной. Он поднялся и пошел, думая о Форестье. Вот кому улыбнулась удача, так это ему!

Дюруа подошел к его двери в тот момент, когда товарищ его выходил.

— А-а-а ты… в этот час! Что тебе от меня нужно?

Дюруа, смущенный встречей, поскольку товарищ уже уходил, пробормотал:

— Это… это… я не мог сделать свою статью, ты знаешь, статью, которую мосье Вальтер попросил у меня об Алжире. Это не должно очень удивлять; потому, что я никогда ничего не писал. Как и во всем, нужна практика. Я очень быстро привыкну, уверен, но, чтобы дебютировать, не знаю, с чего мне начать. У меня много идей, у меня они все есть, но я не могу их выразить.

Немного в нерешительности он остановился. Форестье лукаво улыбнулся:

— Я знаю это.

Дюруа продолжил:

— Да, это должно прийти к каждому, кто начинает. Ладно… Я пришел… я пришел попросить у тебя руку помощи… В десять минут ты меня поставишь на ноги, ты мне покажешь обороты речи, которые нужно использовать. Ты мне дашь хороший урок стиля, а без тебя у меня ничего не выйдет.

Второй с веселым настроением улыбнулся. Он стукнул по руке своего старого товарища и сказал ему:

— Найди мою жену, и она приготовит твое дело так же хорошо, как я. Я выдрессировал ее этому делу. Что до меня, то у меня сегодня утром нет времени, но я бы с удовольствием это сделал.

Дюруа вдруг забеспокоился, не осмеливаясь поставить точку:

— Но, может, в такой час я не могу предстать перед ней?

— Отлично можешь, она уже встала. Ты найдешь ее в моем рабочем кабинете, она приводит в порядок записи для меня.

Второй отказался подняться.

— Нет, это невозможно.

Форестье взял его за плечи, покачал на каблуках и толкнул его к лестнице.

— Ну, все же иди, великий балда, когда я тебя туда посылаю. Не заставляй меня повторно подниматься три этажа, чтобы представить тебя и объяснить твое дело.

Тогда Дюруа решился.

— Спасибо, тогда я пойду. Я скажу ей, что ты меня заставил, абсолютно силой заставил найти ее.

— Да, она тебя не съест, будь спокоен. И не забудь про три часа.

— О! ничего не бойся.

Форестье в спешке ушел, тогда как Дюруа принялся медленно подниматься вверх по лестнице, пролет за пролетом, подыскивая, что он мог бы сказать, беспокоясь о том, как его примут. Ему открыл слуга в голубом фартуке, с метелкой в руке.

— Мосье вышел, — не дожидаясь вопроса, сказал он.

Дюруа настоял:

— Спросите мадам Форестье, может ли она меня принять. Сообщите ей, что я пришел по поручению ее мужа, которого встретил на улице.

Потом он начал ждать. Человек вернулся, открыл дверь справа и объявил: «Мадам ждет мосье».

Она сидела в рабочем кресле в маленькой комнате, стены которой целиком были спрятаны за книгами, хорошо расставленными на полках черного дерева. Книжные переплеты разных оттенков: красные, желтые, зеленые, фиолетовые, голубые — добавляли цвета и веселости монотонным рядам томов.

Она повернулась, все время улыбаясь, одетая в белый, украшенным кружевом пеньюар; она протянула ему руку и показала обнаженную руку в широко распахнувшемся рукаве.

— Уже? — спросила она.

Потом повторила:

— Это не упрек, а простой вопрос.

Он пробормотал:

— О, мадам, я не хотел подниматься, но ваш муж, которого я встретил внизу, заставил меня. Я только смущен, что не осмеливаюсь сказать, что меня привело.

Она показала ему на место:

— Садитесь и рассказывайте.

Она двигала между двумя пальцами гусиным пером, ловко поворачивая его; перед нею находился большой белый бумажный лист, наполовину исписанный, так как своим приходом молодой человек прервал ее работу. Ей было комфортно у себя перед этим столиком для работы, как в своем салоне, где она занималась своим обычным делом.

Легкий запах исходил от пеньюара, свежий запах нового наряда. Дюруа пытался угадать, предполагая, что увидит тело юное и чистое, крупное и горячее, нежно покрытое мягкой тканью.

Она повторила, и, поскольку он не ответил, она сказала:

— Ну, говорите, что это?

Он смущенно пробормотал:

— Вот… но поистине… я не осмеливаюсь… Это то, над чем вчера вечером я очень поздно работал… и этим утром… очень рано… чтобы сделать статью об Алжире, о которой просил меня мосье Вальтер… и я не пришел ни к чему хорошему… я разорвал все мои эссе. У меня нет привычки к такой работе; и я пришел просить мосье Форестье мне помочь… на первый раз…

Смеясь от всего сердца, она прервала его, счастливая, радостная и польщенная.

— И он вам сказал прийти и найти меня?.. Это мило…

— Да, мадам. Он сказал, что вы меня подтянете лучше, чем он. Но я, я не осмеливался, я не хотел. Вы понимаете?

Она поднялась.

— Такое сотрудничество очаровательно. Я восхищена вашей идеей. Ну, садитесь на мое место. Все в газете знают мой почерк. И мы сделаем вам не просто статью, но успешную статью.

Он сел, взял перо, разместил перед собой лист бумаги и стал ждать.

Мадам Форестье, стоя рядом, смотрела на все приготовления; потом она взяла сигареты с камина и закурила:

— Я не могу работать, не куря, — призналась она. — Посмотрим, что вы хотите рассказать?

В ожидании он подняла на нее голову.

— Но я не знаю, для этого я искал вас.

Она сказала:

— Я приведу вещь в порядок. Я приготовлю соус, но мне нужна основа.

Он оставался смущенным; наконец, произнес в замешательстве:

— Я хотел бы рассказать о моем вояже с самого начала…

Тогда она села напротив него, с другой стороны большого стола, и посмотрела ему в глаза:

— Хорошо, расскажите сначала все мне одной, слышите, очень спокойно, ничего не забывая, и я выберу то, что нужно взять.

Но, поскольку он не знал, откуда начать, она начала расспрашивать его, как священник на исповеди, ставя уточняющие вопросы, которые напоминали забытые детали, встречи с людьми, увиденные лица.

После того как она заставила его говорить в течение четверти часа, вдруг она прервала его:

— Теперь мы начнем. Сначала предположим, что вы адресуете ваши впечатления другу, тому, кто вам позволил бы сказать кучу глупостей, делать разные замечания обо всем, быть натуральным и забавным, если сможете. Начинайте.

« — Мой милый Анри, ты хотел знать, что такое Алжир, ты его узнаешь. Я отправлю тебе (нечего делать в маленькой сухой глиняной хижине, которая служит мне жилищем) что-то вроде журнала моей жизни, день за днем, час за часом. Это будет иногда немного живо, иногда ужасно, не нужно показывать его знакомым дамам».

Она прервала его, чтобы закурить свою погасшую сигарету. И тотчас прекратился маленький писк гусиного пера по бумаге.

— Продолжим, — сказала она.

— «Алжир — великая французская страна на границе великих неведомых земель, которые называют пустыней, Сахарой, Центральной Африкой и т. д. и т. д.»

«Алжир — это дверь, белая и очаровательная дверь этого странного континента».

«Но сначала нужно туда добраться, что не для всех привлекательно. Я, знаешь ли, отличный наездник, потому что я дрессирую лошадей полковника. Но можно быть хорошим наездником и плохим моряком. Это мой случай».

— Помнишь ли майора Симбретаса, которого называют доктором одного рецепта? Когда мы осуждали себя на двадцать четыре часа лазарета, благословенная страна, мы шли к нему.

Он сидел на стуле большими открытыми бедрами в его красных панталонах, его руки были на коленях, руки образовывали мост, локти в воздухе; он перекатывал свои большие глаза, похожие на лото, покусывая белые усы.

Ты помнишь его распоряжение: «Этот солдат ранен в живот. Введите рвотное лекарство №3 по моему рецепту, потом двенадцать часов покоя, и будет в порядке».

Лекарство было неотразимым и независимым. Мы глотали его, потому что нуждались в нем. Когда мы исполняли назначения доктора, мы выигрывали двенадцать часов заслуженного отдыха.

«Ну, мой милый, чтобы достичь Африки, нужно перетерпеть в течение сорока часов другого рода неудержимое рвотное, в соответствии с формулой Трансатлантической компании».

Счастливая своей идеей, мадам Форестье потирала руки.

Она поднялась и принялась ходить, а потом зажгла другую сигарету. Она диктовала и выдувала ниточки дыма, который сначала выходил прямо в маленькое пространство между губами, потом расширялся, испарялся, оставляя на месте серые линии, что-то вроде прозрачной туманности, туману, подобному паутинным нитям. Иногда ударом раскрытой ладони она смахивала эти легкие и более стойкие дорожки, иногда она ударяла по ним резким движением указательного пальца, и смотрела вдруг с серьезным вниманием, как медленно исчезают два незаметных кусочка исчезнувшего пара.

И Дюруа, подняв глаза, следовал за ее жестами, за всеми манерами, за всеми движениями ее тела и лица, занятый этой туманной игрой, которая не охватывала диапазона ее мыслей.

Она воображала теперь дорожные перипетии, с изображенными, придуманными ею попутчиками, она делала набросок любовного приключения с женой капитана пехоты, которая собиралась воссоединиться с мужем.

Потом уже села и стала расспрашивать Дюруа про топографию Алжира, которой она совершенно не знала. В десять минут она уже знала столько же, сколько и он, и написала маленькую главу из политической и колониальной географии, хорошо разбираясь в серьезных вопросах, которые будут подниматься в следующих статьях.

Потом она продолжила экскурс в провинцию Доран, причудливую прогулку, где сразу был поставлен вопрос о женщинах: о мавританках, еврейках, испанках.

— Это все, что интересно, — сказала ему она.

Она закончила пребыванием в Саиде, у подножья высокого плато, красивой маленькой интригой между унтер-офицером Жоржем Дюруа и испанской работницей, служившей на

мануфактуре эспарто[3] Айн-эль-Аджар[4]. Она рассказала о встрече, о ночи, в голых каменных горах, когда арабские шакалы, гиены и собаки кричали, лаяли и завывали посреди скал. И радостным тоном она произнесла:

— Продолжение завтра!

Потом она поднялась.

— Вот как пишутся статьи, мой милый мосье. Подпишите, пожалуйста.

Он смутился.

— Итак, подпишите!

Тогда он принялся смеяться и написал внизу страницы: Жорж Дюруа.

На ходу она продолжала курить. Он все время смотрел на нее, не находя, что бы такое сказать, чтобы поблагодарить, счастливый быть рядом с ней, пронзенный признательностью, чувством счастья от этой зародившейся близости. И ему показалось, что все, что его окружает, сделалось частью ее, до самих стен, покрытых книгами. Места для сидения, мебель, воздух, плывший с запахом табака, — все это имело что-то особенное, доброе, нежное, что пришло от нее.

Вдруг она проговорила:

— Что вы думаете о моей приятельнице, мадам де Марель?

Он попробовал удивиться.

— Ну… Я ее нахожу… Я ее нахожу очень соблазнительной.

— Не так ли?

— Да, конечно.

И он хотел добавить: «Но не такой, как Вы», — но не осмелился.

Она продолжила:

— Если б вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная! Это богема, к примеру, настоящая богема. Поэтому муж ее почти не любит. Он видит только ее недостатки и не ценит ее достоинства.

Дюруа поразился, что мадам Марель замужем, хотя это было естественно.

— Ну… Она замужем? А чем занимается ее муж?

Мадам Форестье очень мило подняла плечи и брови, единым движением, полным непонятного смысла.

— О! Инспектор Северной линии. Восемь дней месяца он проводит в Париже. То, что его жена называет «обязательной службой» или еще «работой по дому на неделе», или «святой неделей». Когда вы узнаете ее лучше, вы увидите, какая она тонкая и милая. Посетите ее в один из дней.

Дюруа перестал думать о том, чтобы уйти; ему показалось, что он останется здесь навсегда, что он у себя.

Но дверь бесшумно открылась, и выступил крупный мужчина, которого не представили.

Он остановился, увидев мосье. Мадам Форестье, казалось, на секунду смутилась, потом сказала своим естественным тоном, и румянец поднялся от ее плеч к лицу:

— Итак, входите, мой милый. Я вам представлю хорошего товарища Шарля. Мосье Жорж Дюруа, будущий журналист.

Потом уже несколько иным тоном она проговорила:

— Лучший и самый близкий наш друг, граф де Вудрек.

Мужчины приветствовали друг друга, посмотрев прямо в глаза, и сразу после этого Дюруа ушел.

---

[3] Эспарто — многолетнее травянистое растение. Использовалось для изготовления шелка и бумаги.

[4] Мануфактура по производству бумаги.

Его не стали удерживать. Он пробормотал несколько благодарственных слов, пожал молодой женщине протянутую руку, еще раз поклонился вновь пришедшему, который хранил холодное и серьезное лицо светского человека, и вышел очень взволнованный, как человек, совершивший глупость.

Оказавшись на улице, Дюруа почувствовал грусть, отсутствие комфорта, одержимость темным чувством туманной печали. Он шел вперед, спрашивая себя, почему так внезапно нахлынуло на него уныние; он не находил ответа, но строгое лицо графа де Вудрека, немного старое уже, с седыми волосами, спокойный и дерзкий тон очень богатого и уверенного в себе человека без конца возвращались в память Дюруа.

Он заметил, что приход этого незнакомца, разбившего очаровательный тет-а-тет, к которому его сердце уже привыкло, создал в нем впечатление холода и отчаяния, как услышанное слово, неудачная встреча; иногда достаточно самых маленьких вещей, чтобы создать нам это.

Ему показалось также, что этот человек, по неизвестным причинам по какой причине, был раздосадован, застав его там.

В течение трех часов Дюруа больше ничего не мог делать, а не было еще полудня. У него в кармане оставалось еще шесть пятьдесят: он пошел позавтракать бульоном Дюваля. Потом он бродил по бульвару; и, поскольку пробило три, он поднялся по лестнице во «Французскую жизнь».

Посыльные сидели на банкетке, скрестив ноги, и ждали, а сзади на маленьком, типа профессорского, кресле исполнитель разбирал присланную корреспонденцию. Постановка была отличная, чтобы произвести впечатление на посетителей. Все имели внешний вид, манеру, достоинство, шик, как будто речь шла о вестибюле большой газеты.

Дюруа спросил:

— Можно к мосье Вальтеру?

Инспектор ответил:

— Мосье директор на совещании. Если мосье хочет, он может немного посидеть.

И он указал на зал ожидания, где было полно людей.

Здесь можно было увидеть серьезных, разодетых, важных людей и людей запущенных, в неказистом белье, чей плащ, закрытый до шеи, нес на груди рисунки пятен, напоминавших очертания континентов и морей на географических картах. Среди этих людей находились три женщины. Одна из них была красивая, улыбающаяся, нарядная, имела вид кокотки; ее соседка, словно в трагической маске, рябая, наряженная так же, как и первая, была одета во что-то истасканное, искусственное, свойственное старым актрисам с какой-то фальшивой, несвежей подделкой под юность, как прогорклый запах любви.

Третья женщина в трауре держалась в уголке с видом печалящейся вдовы. Дюруа подумал, что она пришла просить милостыню.

Однако никто не входил, хотя прошло уже больше двадцати минут.

Тогда у Дюруа появилась идея, и он вернулся к служащему:

— Мосье Вальтер в три часа назначил мне встречу, — сказал он. — В любом случае, взгляните, нет ли здесь моего друга, мосье Форестье.

Тогда его провели длинным коридором, который привел его в большой зал, где четыре мосье писали вокруг широкого зеленого стола.

Форестье стоял перед камином и курил сигарету, играя в бильбоке. Он был очень искусен в этой игре и насаживал большой желтый шар на маленькое деревянное острие. Он считал: «Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять».

Дюруа сказал:

— Двадцать шесть.

И его друг поднял на него глаза, не прекращая регулярного движения рукой.

— Ну, вот и ты, — сказал он. — Вчера я сделал пятьдесят семь ударов кряду. Здесь сильнее меня только Сэн-Потен. Ты видел патрона? Нет ничего забавнее, чем смотреть на старого глупого Норбера, играющего в бильбоке. Он открыл рот, как будто чтобы проглотить шар.

Один из редакторов повернул к нему голову:

— Ну, скажите, Форестье, я знаю продавца, превосходного деревянного бильбоке с островов. Оно принадлежало, как говорят, испанской королеве. Его продают за шестьдесят франков. Это недорого.

Форестье спросил:

— Где он живет?

И, поскольку он промазал в игре тридцать седьмой удар, он открыл шкаф, где Дюруа заметил двадцать превосходных бильбоке, расположенных по номерам, как в коллекции. Потом поставив свой инструмент на обычное место, Форестье проговорил:

— Где живет эта драгоценность?

— У торговца билетами Водевиля. Я принесу его тебе завтра, если ты хочешь.

— Да, понятно. Если он по-настоящему хорош, я возьму его. Никогда не бывает слишком много бильбоке.

Потом он повернулся к Дюруа:

— Пойдем со мной, я тебя представлю патрону, иначе ты здесь будешь плесневеть до семи вечера.

Они пересекли зал ожидания, где те же лица оставались в том же порядке. С того момента как показался Форестье, молодая женщина и старая актриса живо поднялись и последовали за ним. Он подвел их одну за другой к амбразуре окна, и они очень тихо беседовали. Дюруа заметил, что его товарищ хорошо знаком и с одной, и со второй.

Потом, толкнув две мягкие двери, они прошли к директору.

Совещание, длившееся около часа, было партией в экарте с кем-то из мосье в плоских шляпах, которых Дюруа заметил накануне.

Мосье Вальтер сидел и играл в карты, сосредоточившись, со вниманием, со сложным движением, а его противник обрушивался, поднимался, обращаясь с легкими цветными картонками гибко, с мастерством и грацией опытного игрока. Сидя в директорском кресле, Норбер де Варан писал статью; Жак Риваль, растянувшись во весь рост на диване, закрыв глаза, курил сигару.

Там чувствовались затхлость, запах кожаной мебели, старого табака и печатного станка; чувствовался особенный запах редакции, знакомый всем журналистам.

За столом черного дерева, инкрустированным медью, — невероятная груда лежалой бумаги: письма, открытки, газеты, журналы всех видов.

Форестье пожал руки игроков, стоя позади играющих, и, не говоря ни слова, смотрел на партию; потом, как только мосье Вальтер выиграл, он сказал:

— Вот мой друг Дюруа.

Директор быстро бросил на молодого человека взгляд, скользнув поверх линз очков, потом спросил:

— Вы принесли мою статью? Это было бы очень хорошо сегодня, в то же время, что и дискуссия Мореля.

Дюруа вынул из кармана листы вчетверо сложенной бумаги.

— Вот, мосье.

Патрон казался восхищенным и, улыбаясь, сказал:

— Очень, очень хорошо. Вы держите слово. Должен ли я просмотреть это, Форестье?

Но Форестье поспешил ответить:

— Это того не стоит, мосье Вальтер; колонку я сделал с ним, чтобы научить его ремеслу. Она очень хороша. И директор, который получил теперь карты у большого худого мужчины, депутата от левого центра, добавил с безразличием:

— Тогда отлично.

Форестье не дал начать ему новую партию, опускаясь к его уху:

— Вы знаете, что вы мне обещали нанять Дюруа, чтобы заменить Марамбо. Хотите, чтобы я держал его на тех же условиях?

— Да, отлично.

И, взяв за руку своего друга, журналист увлек его, пока мосье Вальтер возобновил игру.

Норбер де Варан не поднял головы, казалось, что он не видел или не узнал Дюруа. Жак Риваль, напротив, демонстративно-энергично пожал ему руку, желая уверить своего товарища, что на него можно рассчитывать в деле.

Они пересекли залу ожидания, и, поскольку все подняли на них глаза, Форестье сказал более юной из женщин достаточно громко, чтобы быть услышанным другими:

— Директор вас сейчас примет. В этот момент он на совещании вместе с двумя членами комиссии по бюджету.

Потом он живо прошел, с видом важным и спешным, как будто он собирался составить депешу чрезвычайной серьезности.

Как только они возвратились в редакционный зал, Форестье немедленно вернулся к своему в бильбоке. Пока он играл, отрезая фразы, чтобы подсчитывать удары, он сказал Дюруа:

— Вот. Ты будешь приходить сюда к трем часам, и я скажу тебе, какие дела и визиты нужно сделать днем, вечером или утром. Во-первых, я тебе дам сначала рекомендательное письмо для шефа бюро префектуры полиции, во-вторых, он свяжет тебя с одним из своих служащих. И ты устроишься с ним — по всяким важным новостям, и, в-третьих, — официальные и полуофициальные новости префектуры, конечно; по всем деталям ты будешь обращаться к Сэн-Потену, который об этом осведомлен; а в-четвертых, — ты увидишься с ним сейчас или завтра. В пятых, тебе нужно сразу приучить себя вытягивать новости из людей, которых я буду отправлять тебе для знакомства. И, в-шестых, проникать повсюду сквозь закрытые двери. Ты будешь получать двести франков в месяц фиксированно, плюс два су строчка за интересные отклики на твое мнение — в-седьмых, а также больше двух су за строчку за статьи, которые будут заказывать тебе на разные сюжеты — в-восьмых.

Потом он уже не обращал внимания ни на что, кроме своей игры, и продолжал медленно считать: девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Он пропустил четырнадцать и выругался:

— Именем Бога, тринадцать! Все время мне не везет! Эта скотина! Я умру тринадцатого, конечно.

Один из служащих, закончив свою работу, взял в шкафу бильбоке; это был маленький человек, имевший вид ребенка, а ему было хороших тридцать пять; и некоторые другие журналисты входили, они шли один за другим, чтобы найти принадлежавшую им игрушку. Вскоре их оказалось шестеро, бок о бок, спиной к спине, которые подбрасывали в воздух одинаковым регулярным движением красные, желтые, черные шары, в зависимости от качества дерева. Борьба разгоралась, и два редактора, еще работавшие, поднялись, чтобы судить о бросках.

Форестье выиграл одиннадцать очков. Тогда маленький человек детского вида позвонил гарсону и заказал: «Девять кружек».

И они вернулись к игре, ожидая освежающего.

Дюруа выпил стакан пива с новыми коллегами, потом он спросил своего друга:

— Что мне сделать?

Тот ответил:

— Для тебя сегодня ничего нет. Ты можешь уйти, если ты хочешь.

— А наша статья… вечером… которая выйдет вечером?

— Да, но ты в этом не занят. Я буду держать корректуру. Сделай продолжение на завтра и приходи сюда к трем часам, как сегодня.

И Дюруа, пожав руки и не зная имен их обладателей, спустился по прекрасной лестнице с радостным сердцем и в веселом расположении духа.

Глава 4

Жорж Дюруа спал плохо, так взволновало его желание увидеть отпечатанной его статью. Как только настал день, он поднялся и стал бродить по улице, за час до того, как, двигаясь от киоска к киоску, приносят «Французскую жизнь» разносчики газет.

Тогда он достиг вокзала Сен-Лазар, хорошо зная, что «Французская жизнь» приходит туда до появления в его квартале. Поскольку было еще рано, он стал бродить по тротуару.

Он видел, как пришел торговец, который открыл свой магазинчик стекла, потом он заметил человека, несущего над своей головой стопку больших сложенных листов бумаги. Он бросился: это были «Фигаро», «Жиль-Бляс», «Галуа», «Событие» и две или три другие утренние газеты, но «Французской жизни» среди них не было.

Страх охватил его: «Если „Воспоминания африканского охотника“ перенесли на завтра или если в последний момент случайно вещь не понравилась папаше Вальтеру?»

Он спустился к киоску и заметил, что продают газету, без того чтобы было видно, что в ней. Он поспешил, развернул ее, после того как бросил за нее три су, и пробежал заглавия на первой странице. Ничего. Его сердце забилось; он открыл лист и испытал во время чтения сильные эмоции: внизу колонки, большими буквами значилось: «Жорж Дюруа». Она была здесь! какая радость!

Он принялся бездумно ходить с газетой в одной руке, с шляпой — в другой, с желанием остановить прохожего, чтобы сказать ему: «Купите ее! — купите ее! здесь моя статья!» Ему хотелось закричать изо всех своих сил, как кричат некоторые люди вечером на бульваре: «Читайте «Французскую жизнь»! читайте статью Жоржа Дюруа «Воспоминания африканского охотника»! И вдруг ему захотелось самому прочитать эту статью, прочитать прямо на публике, в кафе, у всех на виду. Он поискал место, где уже часто бывал. Ему пришлось долго туда идти. Наконец, он сел перед баром с вином (здесь уже находились несколько посетителей) и спросил рома, как будто, не думая о времени, спрашивал абсента. Потом он позвал: «Гарсон, дайте мне «Французскую жизнь».

Подбежал человек в белом фартуке:

— У нас нет «Французской жизни». Мы не получаем ничего, кроме «Вызова», «Века», «Фонаря» и «Маленького парижанина».

Возмущенно и разъяренно Дюруа заявил:

— Вот футляр. Тогда пойди и купи ее для меня.

Гарсон побежал и принес.

Дюруа начал читать свою статью. Несколько раз совсем громко он говорил: «Очень хорошо! Очень хорошо!» — чтобы обратить внимание соседей и вызвать у них желание знать, что же на этом листе. Потом, уходя, он бросил газету на стол.

Хозяин заведения заметил и сказал: «Мосье, мосье, вы забыли вашу газету!»

Дюруа ответил: «Я оставляю ее вам. Я уже прочел. Впрочем, сегодня в ней есть очень интересные вещи.

И он не указал на статью, но видел, как один из посетителей взял со стола «Французскую жизнь».

Дюруа подумал: «Что же я буду делать теперь?» И он решил пойти на свою прежнюю службу, забрать жалованье за месяц и подать в отставку. Он трепетал от удовольствия при мысли, какими глазами посмотрят на него начальник и бывшие коллеги. Мысль о недоумении шефа вдруг восхитила его.

Он пошел медленно, чтобы не прийти ранее девяти тридцати, касса открывалась только в десять.

Его учреждение было большой темной комнатой, где почти с утра до вечера зимой светил газовый фонарь. Оно выходило в тесный двор, на другие учреждения — фасадом. В нем находилось восемь служащих, плюс еще один руководитель, прятавшийся в уголке за ширмой.

Дюруа пошел сначала, чтобы взять сто восемнадцать франков двадцать пять сантимов, запечатанных в желтом конверте и размещенных в ящике платежного сотрудника, а потом с победоносным видом проник в огромный зал для работы, где он проводил все дни.

Как только он вошел, помощник начальника, мосье Потель, обратился к нему:

— А… это вы, Дюруа? Шеф о вас спрашивал несколько раз. Знаете, он не признает больных на два дня без справки от врача.

Дюруа, стоя посреди бюро, приготовившись к эффектному слову, сказал сильным голосом:

— К примеру, мне на все это наплевать!

Среди служащих возникло изумление, и появилась голова мосье Потеля, сбитого с толку, закрытого ширмой, которая, как ящик, скрывала его.

Он забаррикадировался там, боясь движения воздуха, так как он ревматик. Он проделал всего две дырочки в бумаге, чтобы присматривать за персоналом.

Слышался полет мух. Помощник начальника, наконец, спросил в нерешительности:

— Что Вы сказали?

— Я сказал, что мне наплевать. Я пришел только за моим жалованьем. Я теперь редактор «Французской жизни» с жалованьем в пятьсот франков в месяц. Плюс еще плата за строку. Я даже дебютировал этим утром.

Однако он пообещал себе продлить удовольствие, но не мог сопротивляться желанию бросить все одним махом.

В остальном эффект был полный. Никто не шевельнулся.

Тогда Дюруа заявил:

— Я предупрежу мосье Пертюи и потом вернусь, чтобы попрощаться с вами.

Он вышел, чтобы найти начальника, который воскликнул, увидев его:

— А! Вот вы. Вы знаете, что я не желаю…

Служащий оборвал его на слове:

— Не дело так орать…

Мосье Петюи, огромный и красный, как петушиный гребень, задыхался от изумления.

Дюруа произнес:

— Мне надоела ваша лавочка. Этим утром я стал журналистом, где мне сделали очень хорошее назначение. Имею честь откланяться.

Он вышел. Он был отмщен.

Он пожал руки старым коллегам, которые осмелились немного с ним поговорить, боясь скомпрометировать себя, так как слышали через открытую дверь его разговор с шефом.

Он оказался на улице с жалованьем в кармане. Он расплатился за вкусный завтрак в хорошем ресторане по умеренной цене, который он знал, потом там, где он ел, снова купил и оставил на столике «Французскую жизнь». Он обошел несколько магазинов, где покупал мелочи, только для того чтобы указать свое имя: Жорж Дюруа. Он добавлял: «Я редактор «Французской жизни».

Потом он указывал улицу и номер, оговаривая с заботой: «Вы оставьте у консьержа».

Поскольку у него еще было достаточно времени, он зашел к литографу, делавшему тут же, на глазах прохожих, визитные карточки, и заказал визитных карточек; немедленно он сделал сотню, которые отпечатали его имя в новом качестве.

Потом он вернулся в газету.

Форестье принял его громко, как принимают подчиненного:

— А! вот и ты. Очень хорошо. У меня есть несколько дел для тебя, подожди десять минут. Сначала я закончу мою работу.

И он продолжил писать начатое.

С другой стороны большого стола стоял маленький, очень бледный пухлый, очень полный лысый человечек, с белым сияющим черепом, уткнув нос в бумаги (он страдал сильной близорукостью).

Форестье спросил его:

— Итак, скажи, Сэн-Потен, во сколько ты будешь брать интервью у наших людей?

— В четыре часа.

— Возьми с собой молодого Дюруа, здесь присутствующего, раскроешь ему тайны профессии.

— Ясно.

Потом, повернувшись к своему другу, Форестье добавил:

— Ты принес продолжение про Алжир? Дебют этим утром был очень успешен.

Дюруа смущенно пробормотал:

— Нет. Я полагал, что у меня будет время после обеда. Мне нужно было сделать кучу вещей; я не мог…

Второй в раздражении пожал плечами:

— Если ты не будешь точен, ты прозеваешь твое будущее. Папаша Вальтер рассчитывал на твою рукопись. Я скажу ему, что это будет завтра.

После молчания он добавил:

— Нужно ковать железо, пока горячо, черт!

Сэн-Потен поднялся.

— Я готов, — сказал он.

Тогда Форестье развернулся на стуле и принял почти торжественную позу, чтобы дать инструкции, и, повернувшись к Дюруа, сказал:

— Так. В Париже в течение двух дней — китайский генерал Ли-Тенг-Фао, вышедший из Континенталя, и раджа Тапосаиб Рамадерао Пали, вышедший из отеля Бристоль. Вы должны начать с ними разговор.

Потом, повернувшись к Сэн-Потену:

— Не забудьте принципиальных точек зрения, которые я наметил. Спросите у генерала и у раджи их мнения о кознях Англии на Дальнем Востоке, узнайте их мысли об английской системе колонизации и господстве, их относительные надежды на вмешательство в дела Европы, в частности Франции.

Он замолчал, а потом добавил, громко сказав: «Нашим читателям было бы интересно узнать, что думают в Китае и в Индии по этим вопросам, которые в данный момент волнуют общественное мнение».

Для Дюруа он добавил:

— Понаблюдайте, как Сэн-Потен будет брать интервью, он отличный репортер. Задача — изучить струны души, чтобы в пять минут опустошить человека.

Потом он с серьезностью начал писать, с очевидным стремлением установить правильную дистанцию, поставив на место своего бывшего товарища и нового коллегу.

Как только они вышли за дверь, Сэн-Потен принялся смеяться и сказал Дюруа:

— Вот работничек! Мы сотворим это от нас самих. По правде говоря, он нас принял за своих читателей.

Потом они спустились на бульвар, и репортер спросил:

— Что-нибудь выпьете?

— Да, с удовольствием. Очень жарко.

Они вошли в кафе, где подавали освежающие напитки. И Сэн-Потен принялся говорить.

Он говорил обо всем на свете и о газете, изобилуя удивительными деталями.

— Патрон? Настоящий еврей! Вы знаете, евреи никогда не меняются. Какой народ!

И он привел удивительные черты особенной скупости, жадности сынов Израилевых, экономию десяти сантимов, на торг кухарок, позорную скидку, запрашиваемую и получаемую, всю манеру быть ростовщиком и кредитором.

— Однако это хороший зигзаг, позволяющий ни во что верить и всем управлять. Его газета, официальная, католическая, либеральная, республиканская, орлеанистская [5] — торт с кремом — и магазин до тринадцати, была основан для поддержки разного сорта денежных операций и предприятий. В этом он очень силен и зарабатывал миллионы через сообщества, не имеющие и четырех су капитала.

Он все время шел, называя Дюруа «мой милый друг».

— Есть слово Бальзака — скупец. Представьте себе, что я как-то оказался в кабинете со старым бедолагой де Норбером, и его Дон Кихотом де Ривалем, когда приехал Монтелин, наш администратор, пришел с марокканской салфеткой под мышкой, эту салфетку знал весь Париж. Вальтер поднял нос и спросил: «Что нового?» Монтелин наивно ответил: «Я пришел заплатить шестнадцать тысяч франков, которые должен торговцу бумагой». Патрон подпрыгнул от удивления: «Вы говорите?»

— Я пришел заплатить мосье Прива.

— Но вы сошли с ума!

— Почему?

— Почему… почему… почему

Он снял свои очки и вытер их. Потом улыбнулся забавной улыбкой, которая бежала вокруг его крупных щек каждый раз, когда он говорил что-нибудь злое или сильное, тоном зубоскала и победителя он произнес:

— Почему? Потому что мы бы могли получить на бумагу скидку от четырех до пяти тысяч франков.

Монтелин, удивленный, сказал:

Но, мосье директор, все подсчеты, были регулярны, проверялись мной и одобрялись вами…

Тогда патрон, став серьезней, заявил:

— Мы не так наивны, как вы. Знаете, мосье Монтелин, нужно всегда накапливать долги, чтобы идти на компромисс.

И Сэн-Потен добавил с видом знатока: «Это что-то вроде Бальзака».

Дюруа не читал Бальзака, но убежденно ответил:

— Черт, да.

Потом репортер заговорил о крупной индейке, о мадам Вальтер, о старом неудачнике, о Норбере де Варане, о Ривале, похожем на Фервака. Потом он заговорил о Форестье.

— Что касается Форестье, у него был шанс жениться на этой женщине, вот и все.

Дюруа спросил:

— А по-настоящему кто его жена?

Сэн-Потен потер руки.

— О! вертушка, тонкая мушка. Это любовница живого старика Вудрека, графа де Вудрека, который обеспечил ее доходом и выдал замуж.

У Дюруа возникло вдруг холодное чувство, что-то вроде нервного подергивания, стремление оскорбить и дать пощечину этому болтуну. Но он его просто прервал, чтобы спросить: «Это ваше имя, Сэн-Потен?

Тот просто ответил:

---

[5] Орлеанисты — сторонники Луи-Филиппа Орлеанского.

— Нет. Меня зовут Тома. Это газета прозвала меня Сэн-Потеном.

И Дюруа, платя за выпитое, вновь сказал:

— Но, мне кажется, уже поздно, а нам нужно посетить двух благородных господ.

Сэн-Потен принялся смеяться:

— Как вы еще наивны, если полагаете, что я пойду спрашивать этого китайца и этого индийца, что они думают про Англию? Как будто я не знаю лучше, чем они, что они должны думать для читателей «Французской жизни». Я уже интервьюировал пятьсот этих китайцев, персов, индусов, чилийцев, японцев и других. По моему мнению, они отвечают те же самые вещи. Я могу просто вернуться к моей последней статье и слово в слово скопировать рукопись. То, что меняется, к примеру, заголовки, имена, названия, возраст… О! Не должно быть ошибок, потому что я буду совершать крутой подъем в «Фигаро» или в «Галуа». Но по этому сюжету консьерж отеля «Бристоль» или «Континенталь» проинформирует меня в пять минут. Мы пойдем пешком, чтобы выкурить сигару. Итог: сто су на извозчика за объявление в газете. Вот, мой милый, как это делается, если речь о практике. Дюруа спросил:

— Наверное, хорошо в таких условиях быть репортером?

Журналист таинственно ответил:

— Да, но ничего так не возвращается, как отклики, по причине замаскированной рекламы.

Они поднялись и последовали по бульвару, к Мадлен. И Сэн-Потен вдруг сказал своему товарищу:

— Знаете, если у вас есть какие-то дела, по-моему, вы можете идти.

Дюруа пожал его руку и ушел

Мысль о статье, которую нужно было написать вечером, тревожила его, и он принялся размышлять о ней. Во все время прогулки он накапливал идеи, мысли, суждения, анекдоты, он поднялся до самого конца улицы Елисейских полей, где не видел никого, кроме редких прохожих: Париж в эти жаркие дни был пуст.

Пообедав у торговца вином возле Триумфальной арки Этуаль, он медленно пешком вернулся к себе по Большому бульвару и сел за стол для работы.

Но, поскольку перед его глазами лежал большой лист белой бумаги, все накопленное улетело из его сознания, словно мозг это выпарил. Он попытался снова собрать фрагменты воспоминаний и зафиксировать их. Они избегали размера, который он избирал, или, лучше сказать, низвергались вперемешку, и он не знал, ни как предъявить их, ни как одеть, ни как начать.

Через час усилий и пять страниц черновиков, с началами фраз, которые не имели продолжения, он сказал себе: «Я еще недостаточно опытен в профессии. Нужно, чтобы я взял новый урок. И сразу перспектива новой работы утром с мадам Форестье, надежда на долгий интимный тет-а-тет, сердечно-нежный, вызвала в нем желание. Он очень быстро лег и почти испугался теперь возможности вернуться к работе и вдруг преуспеть.

На следующий день он поднялся немного позже, оттягивая и заранее предвкушая удовольствие этого визита.

Было десять часов, когда он позвонил в дверь своего друга.

Слуга ответил:

— Мосье в азарте работы.

Дюруа не ожидал, что муж может оказаться дома. И настаивал:

— Скажите, что это я, по неотложному делу.

Через пять минут ожидания он вошел в кабинет, где провел такое хорошее утро.

На месте, которое раньше занимал он, теперь сидел и писал Форестье, в домашнем платье, с ногами в домашних туфлях, голова его была покрыта маленькой английской шапочкой, а его жена в белом пеньюаре, облокотившись на камин, диктовала ему с сигаретой во рту.

Дюруа остановился на пороге, пробормотав:

— Прошу извинения, я вам помешал?

Его друг, повернув к нему голову, разъяренную голову, проворчал:

— Что тебе еще? Поторопись, мы спешим.

Тот пробормотал:

— Нет, ничего, извините.

Но Форестье разозлился:

— Давай, черт, не теряй времени! Ты не стал бы проверять прочность моей двери, чтобы сказать мне «здрасьте».

Тогда очень смущенный Дюруа решился.

— Нет… вот… это… я еще не создал мою статью… ты был… вы были… так любезны в последний раз… что я надеялся… что я осмелился прийти…

Форестье оборвал его на слове:

— Тебе плевать на всех, ты воображаешь, что я стану делать твою работу, а ты будешь в конце месяца стоять у кассы! Нет. Она, конечно, хороша, да.

Молодая женщина продолжала курить, не говоря ни слова, все время улыбаясь туманной улыбкой, и ее лицо напоминало любезную маску на иронии ее мысли.

И Дюруа, покраснев, пролепетал:

— Простите меня! Я полагал… я думал…

Потом вдруг резко и отчетливо проговорил:

— Прошу у вас тысячу раз извинения, мадам, приношу вам самую живую благодарность за такую очаровательную колонку, которую вы сделали мне вчера.

Затем он поклонился, сказав Шарлю:

— Я буду в три часа в газете, — и вышел.

Большими шагами он вернулся к себе, бормоча: «Хорошо, я сделаю это один, один, и они увидят…»

Когда он вернулся домой, гнев захватил его, и он принялся писать.

Он продолжил историйку, начатую мадам Форестье, собрав детали продолжения романа, удивительные перипетии и высокопарные описания, с неловкостью школьника и с формулировками унтер-офицера.

Через час он закончил колонку, напоминавшую безумный хаос, и с уверенностью он понес ее во «Французскую жизнь».

Первым человеком, которого он встретил, был мосье Сэн-Потен, который пожал ему руку с энергией сообщника, спросив:

— Вы читали мое интервью с китайцем и с индусом? Это достаточно забавно? Это развлечет весь Париж. И я не видел даже кончика их носа.

Дюруа, ничего не читавший, взял газету и пробежал краем глаз большую статью, названную «Индия и Китай», пока репортер указывал ему на самые интересные пассажи.

Появился Форестье, надутый, зажатый, испуганный.

— А! Хорошо. Мне нужны вы оба.

И он указал им на политическую информацию, которую он должен был добыть к сегодняшнему вечеру.

Дюруа протянул ему свою статью.

— Вот следующая об Алжире.

— Очень хорошо, давай; я положу ее патрону. Это все.

Сэн-Потен увлек за собой нового коллегу и, когда направились в коридор, он сказал Дюруа:

— Вы ходили в кассу?

— Нет. Зачем?

— Зачем? Потому что вам заплатили. Вы увидите. Нужно постоянно брать аванс за месяц. Неизвестно, что может произойти.

— Но я не прошу ничего лучше.

— Я вас представлю кассиру. Это не составит никаких трудностей. Нам здесь хорошо платят.

И Дюруа пошел получить свои две сотни франков, плюс двадцать восемь франков за статью давеча, которые добавились к полученным на железной дороге, и он имел теперь в кармане триста сорок франков.

Никогда он не держал подобной суммы, и он уверился, что на бесконечное время разбогател.

Потом Сэн-Потен позвал его поболтать а редакциях четырех или пяти газет-соперников, надеясь, что новости, которые ему поручили, захвачены уже другими, и, благодаря своей хитрости и избытку слов, он их раздует.

Наступил вечер, и Дюруа, не имевший больше никаких дел, стал мечтать, как бы ему вернуться в Фоли-Бержер; заплатив смелостью, он представился на контроле:

— Меня зовут Жорж Дюруа, я редактор «Французской жизни». Раньше я приходил сюда с мосье Форестье, который пообещал спросить мне билеты. Я не знаю, подумал ли он об этом.

Проверили среди приглашенных. Его имя не значилось. Однако контролер, человек очень приветливый, сказал ему:

— Приходите всегда, мосье, обращайте свои просьбы прямо к директору, который, конечно, откликнется.

Он вошел и почти сразу же встретил Рашель, женщину, которую увел в первый вечер.

Она подошла к нему: «Здравствуй, мой котенок. У тебя все хорошо?»

— Очень хорошо, а у тебя?

— По-моему, неплохо. Ты не знаешь, со вчерашнего дня я дважды мечтала о тебе.

Польщенный, Дюруа улыбнулся.

— Ах! ах! и что это доказывает?

— Это доказывает, что ты мне понравился, большой чижик. И мы снова начнем, когда ты скажешь.

— Сегодня, если ты хочешь.

— Да, я очень хочу.

— Хорошо, но слушай… — Он смутился, немного сконфузясь. — Дело в том, что на этот раз у меня нет ни су. Я приехал из округа, где я все просадил.

Она посмотрела на него глубоким взглядом, инстинктивно и практично, почуяв ложь, как девушка, привыкшая к обману и торгу с мужчинами. Она сказала:

— Шутник! Знаешь, не стоит со мной в такой манере…

Он смущенно улыбнулся:

— Если тебя устроят десять франков, это все, что мне оставили.

Она проговорила с незаинтересованностью куртизанки, которая позволяет себе прихоть:

— Как тебе понравится, мой милый: я не хочу никого, кроме тебя.

И, подняв свои соблазнительные глаза на усы молодого человека, она взяла его под руку и дружески наклонилась к нему:

— Выпьем сначала гренадина[6]. А потом мы прогуляемся. Я хочу пойти с тобой в Оперу, чтобы показать тебя. А потом мы вернемся пораньше, не правда ли?

…….

Он поздно уснул у этой девушки. Начался день, когда он вышел он нее, и сразу же ему в голову пришла мысль купить «Французскую жизнь». Лихорадочной рукой он открыл газету;

[6] Сироп красного цвета, возможно, из зерен граната.

его истории не было; он остановился постоять на тротуаре, с тревогой пробегая глазами отпечатанные колонки, в надежде найти, наконец, то, что он искал.

Что-то тяжелое вдруг разом отяготило его сердце, потому что после усталости любовной ночи эта неприятность пала на его утомление весом стихийного бедствия.

Он поднялся к себе и уснул на своей постели прямо в одежде.

Несколько часов спустя войдя в бюро редакции, он поздоровался с мосье Вальтером:

— Я был удивлен, мосье, не найдя этим утром мою вторую статью об Алжире.

Директор поднял голову, сказав сухо:

— Я отдал ее вашему другу Форестье и попросил перечитать ее. Он не нашел ее достаточно удачной, ее нужно переделать.

Разъяренный Дюруа вышел, не ответив ни слова, и резко вошел в кабинет своего товарища.

— Почему ты не опубликовал утром мою статью?

Журналист курил сигарету, углубившись шеей в кресло и подняв ноги на стол, пачкая каблуками начатую статью. Он проговорил спокойно скучным и далеким тоном, как будто говорил со дна колодца:

— Патрон нашел ее плохой, а меня попросил передать ее тебе для переработки. Держи. Вот, — и он пальцем указал на сложенные под пресс-папье листы.

Дюруа, смущенный, не нашел ничего, что мог бы сказать, и, поскольку он положил свою прозу в карман, Форестье добавил:

— Сегодня тебе надо сначала пойти в префектуру…

И он указал на серию дел и новостей, которые надо было собрать. Дюруа отправился, но не мог подобрать кусающегося слова, которого он искал.

На следующий день он отдал свою статью. Ему ее снова возвратили. Так было и в третий раз, он получил отказ. Он понял, что слишком поторопился и что только рука Форестье может помочь ему на этом пути.

Он не говорил больше о «Воспоминаниях африканского охотника», пообещав быть гибким и пронырливым, потому что так нужно, и, чтобы что-то сделать, в профессии репортера, надо рьяно ждать лучшего.

Он узнал театральные и политические кулисы, коридоры и вестибюли государственных людей и членов Палаты депутатов, важные фигуры кабинетных атташе и хмурые мины сонных судебных исполнителей.

Он имел продолжительные связи с министрами, консьержами, генералами, агентами полиции, с князьями, куртизанками, послами, епископами, сутенерами, с прожигателями жизни, со светскими людьми, с греками, с кучерами фиакров, с гарсонами в кафе и со многими другими; он становился заинтересованным другом, безразличным ко всем людям, сбивал с толку своим уважением, ко всем одинаково присматривался, судил одним и тем же взглядом, видя их постоянно, каждый час, без духовной перемены, говорил об одних и тех же вещах, касающихся их работы. Он сам сравнивал себя с человеком, который вкушает все сорта вин и скоро уже не отличает Шато-Марго от Аржантей.

Через некоторое время он стал отличным репортером, уверенным в своей информации, хитрым, быстрым, тонким, стал настоящей ценностью для газеты, как говорил папаша Вальтер, который знал толк в редакторах.

Но, поскольку он получал всего десять сантимов за строку и больше двухсот франков постоянного заработка и поскольку жизнь на бульваре, жизнь в кафе и в ресторане стоила дорого, поэтому у него никогда не было лишнего су, и он огорчался своей нищете.

«Эту штуку нужно перенять», — думал он, — видя, как некоторые коллеги идут с карманом, полным золота, и никогда не понимал, какие тайные средства они могли использовать, чтобы достичь этой непринужденности. С завистью он подозревал существование неизвест-

ных и темных способов благодарности за оказанные услуги, всей принятой и согласной контрабанды.

О! Он пытался проникнуть в тайну, войти в молчаливую ассоциацию, навязывался товарищам, которые с ним не делились.

И часто вечерами, когда он смотрел в окно на проходящие поезда, он мечтал найти методы, которые мог бы использовать.

Глава 5

Пробежали два месяца; начался сентябрь; скорая удача, на которую надеялся Дюруа, казалось, очень долго не наставала. Он забеспокоился вдруг о моральной посредственности своего положения и не видел, каким образом можно взобраться на ту высоту, на которой будет оценен и вознагражден. Он чувствовал себя запертым в этой средней профессии репортера, замурованным в ней и не могущим выйти. Его ценили, но не уважали, в соответствии с его положением. Даже Форестье, которому он оказывал тысячи услуг, не приглашал его больше обедать, обращался с ним, как с подчиненным, хотя и называл его другом.

Время от времени, правда, Дюруа, пользуясь оказией, помещал фрагменты статей, и, приобретя по откликам гибкость пера и такт, отсутствовавшие, когда он писал вторую статью об Алжире, не подвергался больше никакому риску отказа от публикации. Но создать материал согласно своему представлению или удовольствию, рассуждая о политических вопросах, было то же самое, что ехать по улице дю Буа не простым кучером, а мэтром. То, что, главным образом, унижало его, это чувство закрытости для него дверей света, отсутствие взаимоотношений на равных, отсутствие близости с женщинами, кроме нескольких известных актрис, иногда воспринимавших его с фамильярным интересом.

Ранее он знал из опыта, что они проявляют к нему необыкновенную светскую и актерскую симпатию, мгновенную симпатию, и он чувствовал, не зная тех, от кого может зависеть его будущее, нетерпение стреноженной лошади.

Очень часто он мечтал нанести визит мадам Форестье, но мысль об их последней встрече останавливала, унижала его, и он ждал, кроме того, когда будет приглашен ее мужем. В воспоминаниях ему явилась и мадам Марель, напомнившая, что она приглашала увидеться с ней, и однажды он появился у нее после обеда, когда у него не было никаких дел.

«Я всегда дома до трех», — говорила она.

Он позвонил в дверь в половине третьего. Она жила на улице Вернёй, на четвертом этаже.

Шум колокольчика; прислуга открыла дверь; маленькая причесанная служанка, завязывавшая шапочку, ответила:

— Да, мадам дома, но я не знаю, встала ли она.

И толкнула дверь в гостиную, которая была приоткрыта.

Дюруа вошел. Комната была достаточно большой, немного меблированной и внешне запущенной. Кресла, несвежие и старые, выстроились вдоль стен, в соответствии с порядком, придуманным служанкой; не чувствовалось никакой элегантной заботы женщины, которая любит уют. Посередине на неравных шнурах висели четыре бедных картины, они представляли собой лодку на реке, корабль в море, мельницу на равнине и дровосека в лесу; все четыре прикрепили криво. Можно было догадаться, что в течение долгого времени они оставались в таком положении под небрежным взглядом безразличия.

Дюруа уселся и ждал. Ждал он долго. Но дверь открылась, и быстро вошла мадам де Марель, одетая в розовый шелковый японский пеньюар, на котором золотом был вышит пейзаж с голубыми цветами и белыми птицами, и воскликнула:

— Представьте себе, что я еще не вставала. Как это мило, что вы пришли меня повидать! Я была убеждена, что вы меня забыли.

Восхищенным жестом она пожала обе его руки, и Дюруа, которому посредственный вид квартиры позволил расслабиться, взял ее за руки и поцеловал одну, как он видел, делал Норбер де Варан.

Она пригласила его сесть; потом осмотрела с головы до ног и сказала:

— Как вы изменились! Вы набрались воздуха. Париж принес вам пользу. Ну, расскажите мне новости.

И, как старые знакомые, они принялись болтать, чувствуя между ними рождение мгновенной близости, чувствуя, как устанавливается один из потоков доверия, интимности и чувства, после которого два существа того же характера и той же самой породы в пять минут становятся друзьями.

Вдруг молодая женщина прервала беседу и удивилась:

— Это забавно, как я с вами. И мне кажется, что мы с вами знакомы десять лет. Без сомнения, мы станем хорошими товарищами. Хотите?

— Ну, конечно, — ответил он с улыбкой, которая говорила больше.

Он находил ее всю весьма соблазнительной, в сияющем и нежном пеньюаре, менее тонком, чем тот, белый пеньюар, менее кошачьем, менее изящном, но более волнующем, с перцем.

Когда он чувствовал себя рядом с мадам Форестье, с неподвижной и грациозной улыбкой, которая в одно и то же время привлекала и останавливала его, которая, казалось, говорила «Вы мне нравитесь» и «Остерегитесь!», чьи истинные чувства были никогда непонятны, у него появлялось желание лечь у ее ног или поцеловать тонкое кружево на ее корсаже, медленно вдыхать жаркий и ароматный запах, исходивший от нее, скользивший между грудями. Подле мадам де Марель он чувствовал желание более грубое, более определенное, которое трепетало в его руках под поднимавшимися контурами ее легкого шелка.

Она постоянно говорила, сея каждую фразу тем легким тоном, который она обычно принимала, как рабочий владеет ловкостью рук, нужной для выполнения известной сложной работы, которой удивляются другие. Он слушал ее, думая: «Хорошо бы запомнить все это. Написали бы очаровательную парижскую колонку, болтая о событиях дня».

Но вот тихо, совсем тихо в дверь, откуда она пришла, постучали. Она воскликнула: «Ты можешь войти, малышка». Вошла маленькая девочка, подошла прямо к Дюруа, и он протянул ей руку.

Мать удивленно пробормотала: «Ну, это завоевание. Я ее больше не узнаю». Молодой человек обнял ребенка, сел напротив мадам и серьезным тоном начал задавать девочке милые вопросы о том, что она делала с тех пор, пока они не виделись. Она отвечала тоненьким голосом флейты, серьезным тоном большой девочки.

Часы прозвонили три часа, журналист поднялся.

— Приходите часто, — попросила мадам де Марель, — мы поболтаем, как сегодня, вы мне всегда доставите большое удовольствие. Но почему вы не приходите больше к Форестье?

Он ответил:

— О! Не из-за чего. У меня много работы. Я надеюсь, что в один из ближайших дней мы увидимся.

И он вышел, с сердцем, полным надежды, не зная, почему.

Он не говорил Форестье об этом визите.

Но все следующие дни он хранил воспоминание, и даже больше, чем воспоминание, чувство настойчивого и ирреального присутствия этой женщины. Он как будто что-то взял у нее, образ ее тела, оставшийся в глазах, и ощущение ее душевной сути, оставшееся в его сердце. Он находился под воздействием этого образа, как будто он приезжал несколько раз и проводил очаровательные часы подле этого существа. Говорят, что мы испытываем странное, близкое, смущающее, волнующее и изысканное чувство обладания, потому что оно таинственно.

Через несколько дней он нанес короткий визит.

Служанка ввела его в гостиную, и сразу же вошла Лорин.

Она протянула ему лоб, а не руку и сказала: «Мама мне велела, чтобы я просила вас подождать. Ей понадобится пятнадцать минут, потому что она не одета. Я составлю вам компанию».

Дюруа, веселясь церемонными манерами девочки, ответил:

— Отлично, мадмуазель, я буду рад провести четверть часа с вами; но я вас предупреждаю, что я не буду серьезен, весь день я буду играть; я вас приглашаю сделать партию в кошку.

Девочку захватило его предложение, потом она улыбнулась, как делает женщина при мысли, которая шокировала бы ее, и пробормотала:

— В квартире не играют.

Он перебил:

— Это все равно. Я играю всюду. Ну, поймайте меня.

И он принялся двигаться вокруг стола, побуждая ее преследовать его, так что она двигалась позади него, все время улыбаясь, с вежливой снисходительностью, иногда протягивала руку, чтобы коснуться его, но не сдавалась до самого бега.

Он останавливался, наклонялся, и, когда она приближалась своим робким шагом, он прыгал в воздухе, как черт, запертый в коробке, а потом переносился в другой конец гостиной. Она находила это забавным, переставала смеяться и, двигаясь, начинала семенить перед ним с легкими радостными криками, когда верила, что схватит его.

Он передвигал стулья, допуская промахи, заставляя ее кружить вокруг одного и того же места и потом покидал его, захватывал другое. Лорин бегала теперь, полностью предавшись удовольствию новой игры и розовея лицом, она торопилась с огромным рвением восхищенного ребенка на каждое ускользание, на каждую хитрость, на каждое притворство своего товарища.

Вдруг, поскольку она собиралась добраться до него, он схватил ее в руки и, подняв до самого потолка, крикнул: «Поймана кошка!»

Восхищенная девочка шевелила ногами, желая убежать, и смеялась от всего сердца.

Мадам Марель вошла и изумилась:

— О! Лорин! Лорин, которая играет… Вы колдун, мосье.

Он поставил девочку на землю, поцеловал руку ее матери, и они сели, а ребенок между ними, они сели и хотели поговорить, но одурманенная Лорин, обыкновенно молчаливая, теперь болтала без умолку, и ее пришлось отослать в ее комнату.

Она молча повиновалась, но со слезами в глазах.

С того момента, как они остались одни, мадам Марель понизила голос:

— Вы не знаете, у меня большой план, я думала о вас. Вот. Поскольку я все недели обедаю у Форестьеов, время от времени я приглашаю их ответно в ресторан. Я могу принимать у себя, но я не устроена для этого, я ничего не смыслю в домашнем хозяйстве, ничего в кухне, ничего ни о чем. Я чертовски люблю жить. Итак, время от времени я принимаю в ресторане, но это невесело, когда нас только трое. Мое понимание едва ли сочетается с их. Я вам это говорю, чтобы объяснить вам закономерность приглашения. Вы понимаете, не правда ли, что я прошу вас быть на наших субботах, в кафе Риш, в семь тридцать. Вы знаете этот дом?

Он с радостью откликнулся. Она добавила: «Мы будем все вчетвером. Настоящая партия каре[7]. Это так привлекательно для наших женщин, все эти маленькие праздники, для которых они необычны.

Она была в темно-коричневом платье, которое провокационным и кокетливым способом обнимало ее талию, горло, лодыжки, руки. И Дюруа испытал удивительный конфуз, почти смущение, причину которого он не мог ухватить, диссонанс этой изысканной и заботливой элегантности с очевидной небрежностью жилища, в котором она жила.

Все, что одевало ее тело, все то, что интимно и прямо касалось ее тела, было тонко и нежно, но то, что его окружало, уже не имело для нее значения.

И он ушел от нее, как и в прошлый раз, храня чувство продолжающегося ее присутствия, своего рода галлюцинацию чувств. И с возрастающим нетерпением он ждал дня, когда он сможет пообедать с ней.

---

[7] Каре — карточная игра.

До этого нужно было во второй раз взять напрокат вечерний костюм, так как средства еще не позволяли его купить, и Дюруа пришел на встречу за несколько минут до срока. Он заставил себя подняться на второй этаж, и его провели в маленькую гостиную ресторана, обтянутую красным, чье единственное окно выходило на бульвар.

Квадратный стол и четыре столовых прибора на белой скатерти, блестели как лакированные. Бокалы, столовое серебро, печь весело сияли в пламени двенадцати свечей, поднятых на двух высоких канделябрах.

Снаружи из отдельных кабинетов можно было увидеть большое пятно яркой зелени, которое оказалось сияющей живым светом листвой дерева.

Дюруа сел на очень низкое канапе, красное, как драпировка стен, чьи усталые пружины тонули под ним, создавая у него чувство, что он падает в дыру. Он слышал смутный ропот всего этого огромного здания, шум большого ресторана, шум кастрюль и задетого столового серебра, шум скорых шагов гарсонов, смягченный коврами, шум внезапно открывающихся дверей, позволяющих бежать от звуков голосов всех тесных гостиных, где, закрывшись, обедают люди. Форестье вошел и с сердечной фамильярностью пожал ему руку, как он никогда не свидетельствовал ему своего почтения во «Французской жизни».

— Две дамы придут вместе, — сказал он. — Как милы эти обеды!

Потом он посмотрел на стол, заставив полностью погасить вдруг газовый фонарь, горевший в ночной темноте, закрыл створку окна по причине прохладного воздуха и выбрал себе хорошо защищенное место, провозгласив: «Нужно, чтобы я обратил на это особое внимание; в течение месяца мне было лучше, и вот в продолжение нескольких дней — повторение болезни. Я был захвачен холодным вторником, когда выходил из театра».

Открыли дверь, и, следуя за метрдотелем, появились две молодые женщины, скрытые под вуалями, таинственные, с очаровательным налетом тайны в местах, где подозрительны встречи и окрестности.

Поскольку Дюруа приветствовал мадам Форестье, она громко заворчала на него за то, что он не вернулся, чтобы повидать ее; потом она добавила с улыбкой своей подруге: «Вот, вы мне предпочитаете мадам де Марель; вы находите для нее много времени».

Потом они расселись, и метрдотель подал господину Форестье карту вин; мадам де Марель воскликнула:

— Дайте этим мосье то, что они хотят. Что до нас, охлажденного шампанского, лучшего, сладкого шампанского, к примеру, ничего другого.

И человек вышел, а она с возбужденным смехом объявила: «Сегодня вечером я хочу пошалить. Устроим кутёж, настоящий кутёж».

Форестье, который, казалось, не слышал, спросил:

— Вы не будете возражать, если закроем окно? В течение нескольких дней мне нездоровилось.

— Нет, ничего.

И он толкнул оставшуюся приоткрытой створку и, успокоившись, сел с безмятежным лицом.

Его жена ничего не говорила и казалась поглощенной происходящим; ее глаза смотрели на стол, она улыбалась туманной улыбкой, отраженной в бокалах, которая все время обещала то, что никогда не сбывалось.

Принесли устриц из Остенде, маленьких и жирных, напоминавших маленькие уши, закрытые в раковинах, которые плавились между небом и языком, как соленые конфеты. Потом после картофеля подавали розовую форель, нежную, как девичья плоть; и гости начали беседу.

Сначала обсуждали сплетни, бегущие по улицам: историю светской женщины, застигнутой другом ее мужа (она ужинала в отдельном кабинете с иностранным принцем).

Форестье много смеялся над приключениями; две женщины заявили, что нескромный болтун был хамом и трусом. Дюруа держался их точки зрения и очень громко заявил, что мужчина должен заниматься такого рода делами, актер ли он, доверенное лицо или простой свидетель, храня гробовое молчание. Он добавил:

— Насколько жизнь была бы полна очаровательных вещей, если бы можно было рассчитывать на абсолютную осмотрительность тех и других. Часто, очень часто, почти всегда из-за страха тайного снятия маски женщины останавливаются.

Но, улыбаясь, он добавил:

— Ну, правда ли это? Сколькие сдались бы внезапному желанию, неожиданному капризу или в час ярости, фантазии любви, если они не боялись бы расплатиться непоправимым скандалом и мучительными слезами за короткое и легкое счастье!

Он говорил с заразительной убежденностью, как если бы вел защиту по делу, по ее делу, как если бы говорил ей: «Не нужно со мной бояться подобной опасности. Попробуйте понять это».

Обе дамы созерцали его, все время одобряя взглядом, свидетельствуя, что он говорит хорошо и правильно, признавая дружеское молчание непреклонной парижской моралью, которая в течение долгого времени не устоит перед несомненностью тайны.

И Форестье, почти легший на канапе нога на ногу, положил салфетку, чтоб не пачкать костюм, и заявил вдруг с улыбкой истинного скептика:

— Боже, но мы заплатили бы, да, если бы были уверены в молчании. Чертовщина! Бедные мужья!

Принялись говорить о любви. Не признавая вечной любви, Дюруа понимал любовь как длительную связь, нежную дружбу, доверие! Союз чувств не что иное как печать союза сердец. Но он возмущался беспокойной ревностью, драмами, сценами, страданиями, почти всегда сопровождающими разрывы.

Когда он замолчал, мадам де Марель вздохнула:

— Да, это единственная хорошая вещь в жизни, и мы часто вредим ей невозможной требовательностью.

Мадам Форестье, игравшая ножом, сказала:

— Да… да… это хорошо… быть любимой…

Казалось, она подальше оттолкнула свою мечту, думая о вещах, о которых она не осмеливалась говорить.

И, поскольку первое блюдо не принесли, время от времени маленькими глотками они пили шампанское, закусывая корочками, отодранными от задней части маленьких круглых булочек. Мысль о любви, медленная и соблазнительная, входила в них, понемногу опьяняла их душу, как чистое вино, капля за каплей падавшее в их горло, горячившее их кровь и смущавшее их дух.

Принесли котлеты из барашка, нежные, легкие, лежавшие на густом ложе из маленьких острых концов спаржи.

— Черт! Хорошая вещь! — воскликнул Форестье.

Они ели медленно, наслаждаясь тонким мясом и овощами, маслянистыми, как крем.

Дюруа возобновил беседу:

— Когда я люблю женщину, весь мир исчезает вокруг нее.

Он сказал это с убеждением, взволнованный мыслью об этом любовном удовольствии, наслаждаясь угощением, которого он отведал.

Мадам Форестье пробормотала тоном, словно ее это не касается:

— Это несравненное счастье — первое пожатье руки… Когда он спрашивает: «Любите ли вы?» И когда другая отвечает: «Да, я люблю»

Мадам де Марель, которая залпом опустошила бокал шампанского, весело сказала, ставя свой бокал:

— По-моему, я менее платонична.

И с блестящими глазами они принялись острить, одобряя ее высказывание.

Форестье, растянувшийся на канапе, распахнув руки, опершись на подушки, серьезным тоном сказал:

— Эта искренность делает вам честь и доказывает, что вы — женщина практическая. Но, может быть, мы спросим мнения мосье де Мареля?

Она медленно пожала плечами с бесконечным, длительным презрением; потом проговорила милым тоном:

— Мосье де Марель не имеет мнения в этой области. Он… воздерживается.

И разговор пустился насчет высокой теории нежности, расцвел садом выдающихся шуток.

Это был момент искусных намеков, поднятой вуали слов, как приподнимают юбки, момент ловкостей языка, искусной и замаскированной смелости, всей бесстыдности лицемерных фраз, которые показывают раздетые образы в туманных выражениях, приносящих во взгляд и ум быстрые видения всего того, о чем мы не можем сказать прямо, позволяющие светским людям разновидность тонкой и таинственной любви, нечистую разновидность одновременного вызывания мыслей с помощью воскрешения, волнующего и чувственного, как объятия, всех тайных, постыдных и желанных объятий. Принесли жаркое, куропаток, окруженных перепелами. Потом маленький горошек, потом террин из фуа-гра, в сопровождении салата с кружевными листочками, похожий на зеленый мох, большой салатник в форме бассейна. Они съели все, не смакуя, не заметив, занятые единственно тем, о чем они говорили, погрузившись в ванну любви.

Две женщины теперь твердо бросали слова: мадам де Марель — с натуральной смелостью, напоминавшей провокацию, мадам Форестье — с очаровательным запасом целомудрия в тоне, голосе, в улыбке, во всей манере, выделявшая тоном, как бы приуменьшавшая дерзкие вещи из своих уст.

Форестье, полностью распластавшись на подушках, смеялся, пил, ел без конца, бросая иногда только дерзкое или жесткое слово, так что женщины, немного шокированные формой и для формы, вдруг принимали немного смущенный вид, и это длилось две или три секунды. Когда он трусил от слишком грубой шутки, он говорил:

— Все хорошо, дети мои. Если вы будете продолжать так, вы перестанете совершать глупости.

Принесли десерт, потом — кофе. И ликер лился в возбужденные более тяжелой и жаркой проблемой души.

Поскольку всех пригласили садиться за стол и мадам де Марель была пьяна, она признала это с веселой и словоохотливой грацией женщины, которая подчеркивает, чтобы забавлять своих гостей, градус реального опьянения.

Теперь, может быть, из осторожности, мадам Форестье умолкла, Дюруа чувствовал себя слишком возбужденным и, чтобы не скомпрометировать себя, хранил искусную сдержанность.

Закурили сигареты, и Форестье вдруг принялся кашлять.

Ужасный приступ уже разрывал ему горло; и с красным лицом с потным лбом он кашлял в свою салфетку. Когда кризис успокоился, разъяренным тоном он заворчал:

— Эти планы не имеют для меня никакой ценности: это глупо.

Все его хорошее настроение исчезло в мучительности болезни, преследовавшей его.

— Вернемся к себе, — сказал он.

Мадам де Марель позвонила гарсону и попросила счет. Ей принесли его почти сразу же. Она попыталась прочитать, но цифры вертелись перед глазами, и она протянула чек Дюруа:

— Держите, заплатите за меня, я вас прошу, я слишком пьяна.

И она бросила ему в руки свой кошелек.

Общая сумма была сто тридцать франков. Дюруа проверил и пересчитал чек, потом отдал две купюры, взял сдачу и вполголоса спросил:

— Сколько нужно оставить гарсонам?

— Как вы хотите, я не знаю.

Он положил пять франков на салфетку, потом вернулся к кошельку молодой женщины, сказав:

— Хотите ли вы, чтобы я отвез вас до вашей двери?

— Ну, конечно. Я не в состоянии найти свой адрес.

Пожав руки Форестьем, Дюруа остался один вместе с госпожой де Марель в катившемся фиакре.

Он почувствовал ее напротив себя так близко, запертую в черной карете, вдруг освещаемую с тротуаров клювом газового фонаря, он чувствовал через ее рукав жар ее плеча, и он не мог найти ничего другого, абсолютно ничего, кроме парализовавшего его дух властного желания схватить ее в свои объятия.

«Если я осмелюсь, что она сделает?» — думал он.

И воспоминание обо всех шаловливых шутках в течение ужина сделало его смелее, но страх скандала заставлял его медлить.

Она ничего больше не говорила, неподвижная, погруженная в свой уголок. У него возникла бы мысль, что она уснула, если бы он не видел, как сияют ее глаза каждый раз, когда луч света проникает в карету.

«О чем она думает?» — он хорошо чувствовал, что достаточно сказать одно лишь слово, единственное слово, разбивающее тишину, и оно унесло бы все возможности; но у него отсутствовала смелость, смелость резкого и грубого действия.

Вдруг он почувствовал движение у своей ноги. Она сделала движение, сухое, нервное, нетерпеливое движение или позвала, может быть. Этот жест, почти бесчувственный, заставил пробежать с головы до ног трепету по его коже, и, живо повернувшись, он бросился к ней, ища ее рот своими губами и обнаженную плоть своими руками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.